

180

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ
№ _____ г. _____

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

1
1992



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ДИСКУССИИ

Национальный фактор в международных отношениях в Центральной и Юго-Восточной Европе <i>Случ С. З.</i> «Дело Тухачевского»: велика ли заслуга СД? (по поводу новой книги немецкого историка)	3 27
--	---------

СТАТЬИ

<i>Шережет В. И.</i> Опыт исследования кризиса феодально-империльной системы (экономика и политика в эпоху Восточного кризиса 1870-х годов)	30
<i>Гибианский Л. Я.</i> К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг. Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года	42
<i>Никольский С. В.</i> Научная фантастика и искусство вносказания	57
<i>Мароевич Р.</i> (СФРЮ). Сопоставительная лингвистика и теория перевода как научные дисциплины	72
<i>Калынь Л. Э.</i> Фонетическое слово как пространство фонетических изменений в славянских диалектах	78

СООБЩЕНИЯ

<i>Пименова И. В.</i> Работники умственного труда — это и есть интеллигенция? (Возвращаясь к напечатанному)	89
<i>Фирсов Е. Ф.</i> Национальное и общечеловеческое в наследии Я. А. Коменского в освещении Й. Понеловой (К юбилею Коменского)	95

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Маловещная Т. Ф.</i> В. И. Косик. Русская политика в Болгарии. 1879—1886	101
<i>Фрейденберг М.</i> Krivošić S. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti	105

1

1992

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

<i>Лебедева О. В.</i> Georg J. Morava. Franz Palacký. Eine frühe Vision von Mitteleuropa	108
<i>Васильенко В. Н.</i> Д. С. Прокофьева. «Струн вещей пламенные звуки...»	111
<i>Амькиш А. Е.</i> Szemerényi O. An den Quellen des lateinischen Wortschatzes	114
<i>Гудков В. П.</i> Публикации в ознаменование юбилея С. Б. Бернштейна	117

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Лаптева Л. П.</i> Иллюминированные рукописи гуситского периода (Международный коллоквиум по кодикологическим проблемам в Праге)	122
<i>Тер-Аванесова А. В., Теректьев В. А.</i> Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. Конференция, посвященная 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо	123
Новые книги	127

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
 А. А. ГУГНИЦ, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУБА,
 В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОРЯ,
 М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ДИСКУССИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ¹

НОВОПАШИН Ю. С., д-р филос. наук, зам. директора ИСБ

Нет нужды напоминать о том, как возросла в последнее время роль национальных проблем во внутренней и внешней политике многих стран мира. Крупные и не очень крупные многонациональные государства оказались охвачены национальным брожением. Поразительная вещь: общее смягчение международного климата, снижение конфронтационности в мировой политике сопровождаются ростом потенциальной угрозы конфликтности в отношениях государств на региональном и субрегиональном уровнях из-за межэтнических противоречий.

Предмет сегодняшнего «круглого стола» — Центральная и Юго-Восточная Европа (ЦЮВЕ). Потенциально это весьма взрывоопасный регион, ибо практически во всех расположенных здесь государствах просматривается тенденция к обострению межэтнических конфликтов. Кроме того, на уровне бытового сознания продолжает существовать неудовлетворенность решением национально-территориальных вопросов. Нередко настроения в пользу пересмотра существующих границ искусственно подогреваются различными неформальными, а порой и юридически оформленными движениями и общественными организациями.

Весь комплекс национальных и национально-территориальных проблем актуализируется в связи с тем, что страны ЦЮВЕ — непосредственные соседи СССР. Решение национальных проблем у нас и у соседей напрямую связано с формированием международно-политической обстановки на Европейском континенте. Поэтому есть смысл поговорить и о состоянии дел в приграничных республиках и регионах страны — Молдове, Закарпатье и т. д. Нужен и анализ тенденций формирования сегодняшнего русского общественного сознания, особенностей проявления русского национализма. В этой связи необходимо коснуться и более общей проблемы — национализма как такового, причин его возникновения и условий трансформаций в какие-то формы интернациональной идеологии. Последнее мы наблюдаем в Западной Европе, которая успешно, хотя и не без трудностей, освобождается от узконациональных (националистических) подходов к вопросам экономики, политики и культуры, ищет и находит формы сочетания как национальных, так и общеевропейских интересов. Поставим вопрос так: не является ли западноевропейская, североамериканская и тихоокеанская интеграция формами вхождения

¹ Материалы «круглого стола», организованного в июне 1994 г. сектором современной истории Института славяноведения и балканистики РАН (ИСБ) совместно с журналом «Советское славяноведение». Публикация подготовлена А. Б. Едемским и А. А. Мурадяном.

наиболее развитых массивов человечества в XXI в.? Если это так, то дезинтеграционные процессы в нашей стране и в Восточной Европе способны отодвинуть эти народы на задворки истории. Такое уже бывало. Вспомним, хотя эта аналогия достаточно условна, Османскую Турцию, блестящую и могучую европейскую «сверхдержаву» XVIII в., так и не сумевшую «встроиться» в процессы, формировавшие XIX в., и отодвинутую с авансцены европейской и мировой политики более расторопными соперниками. Думается, что ныне, на пороге XXI в., наша страна должна ускоренно пройти два этапа. Первый — дезинтеграция и создание суверенных национальных государств, второй — интеграция этих государств как равных, по образцу Западной Европы, без имперского «центра».

Хочу быть правильно понятым: я отнюдь не считаю, что в основе многих бед, типичных для стран региона ЦЮВЕ, лежат только нерешенные национальные вопросы. Понятно, что социальная ситуация в СССР и государствах ЦЮВЕ в течение десятилетий формировалась в условиях господства авторитарных систем власти, государственно-бюрократической собственности, соответствующей идеологии. Тем не менее в углубление всестороннего кризиса в этих странах немалую лепту внесло и неудовлетворительное решение национальных вопросов. Отсюда и всплеск национализма. Цель нашего «круглого стола» — постараться пролить дополнительный свет на международно-политическую роль национального фактора в восточноевропейском субрегионе.

МУРАДЯН А. А., д-р ист. наук, ведущий научн. сотрудник Института международных экономических и политических исследований АН СССР (ИМЭПИ)

Давайте определим содержание ключевых понятий, которыми будем оперировать в дискуссии. Как мне представляется, «национальный фактор» — это собирательный термин, не нуждающийся в строгом определении. Под ним можно понимать весь комплекс явлений и процессов, порождаемых национализмом, межнациональными отношениями, национальными движениями, национальными конфликтами. А вот термин «национализм» — строгое научное понятие, и о его толковании есть смысл предварительно договориться. В науке на сегодняшний день сформировалось, на мой взгляд, три основных подхода к его определению. Одна из устойчивых традиций в этом вопросе — трактовка национализма как феномена сознания, причем по преимуществу индивидуального. Авторитетный специалист в этой области, американский профессор Ганс Кюн писал в опубликованной в середине 50-х годов монографии «Национализм. Его значение и история»: «Национализм — это состояние сознания, при котором высшая лояльность индивида переносится на национальное государство».

Позитивным в этом подходе является пристальное внимание к психологической, эмоциональной стороне рассматриваемого феномена. В самом деле, прежде чем национальная потребность, национальный интерес начнут реализовываться на практике, они должны обрести идеологическую форму, стать элементом общественного сознания, «отлиться» в определенное эмоциональное состояние индивидов и общественных групп. Однако эта концепция уходит от ответа на вопрос: какие факторы лежат в основе процесса формирования индивидуального и общественного сознания и общественной психологии? Отсылка к тезису о «врожденных психологических качествах» целых народов, «спонтанности» и «иррациональности» национального «духа» проблемы не решает.

Рассматривается национализм и исключительно как «политический принцип», суть которого состоит в том, что «политическая и националь-

ная единицы должны совпадать». Если такого «совпадения» не происходит, т. е. люди какой-либо национальности оказываются за пределами своего национального государства, лишаются собственной государственности, то возникают мощные движения протеста. Такова, например, позиция профессора Кембриджского университета Эриста Геллнера, изложенная им в монографии «Нации и национализм», опубликованной в 1983 г. Преимущество подхода ученого в том, что он указывает на особую важность политических и государственных институтов как гарантов развития нации, защиты ее экономических и культурных интересов. Минус тоже очевиден: остается невыясненным вопрос, почему экспансионистская политика приобретает отчетливо националистическую окраску и в тех случаях, когда «политическая и национальная единицы» нации-агрессора «совпадают», а она тем не менее стремится вырваться за границы «совпадения», подчинить другие страны и народы.

Наконец, приверженцы третьей концепции предпочитают рассматривать национализм как явление, имеющее глубокие социально-экономические корни. Национализм — продукт общественно-исторического развития, а не просто врожденное психологическое состояние индивида, не только факт общественного сознания (тем более иррационального) или политический принцип. Национальный вопрос есть часть социальной проблематики, особая форма движения социальных интересов.

Общеизвестно, что национализм служил эффективным инструментом демонтажа феодальных политических систем. Он выполнял функцию защиты политических интересов нации и в XX в. Созидательный потенциал национальный фактор сохраняет в наше время. Вместе с тем энергия национальных чувств может быть чрезвычайно разрушительной. Об этом свидетельствует и далекая и совсем близкая история. Стало быть, дело не в том, чтобы однозначно определить национализм как конструктивный или деструктивный фактор общественной жизни, а, признав его структурно сложным феноменом (имеющим социально-экономическое, политическое, идеологическое, социально-психологическое, духовное измерения), позаботиться о том, чтобы энергия национальных чувств направлялась в конструктивное русло социальной политики.

Подобная компромиссная трактовка национализма, фактически объединяющая все три концепции, могла быть полезной для нашей дискуссии. Если абстрагироваться от воинственно-догматических крайностей в указанных подходах, то в них явно просматриваются точки соприкосновения. Так, и Г. Кон и Э. Геллнер пишут о XX в. как эпохе национализма. Оба склонны искать корни националистических чувств и движений также и в исторических обстоятельствах, в специфике общественного развития нашего столетия. Геллнер подчеркивает, что национализм типичен для периода индустриализации, каждая из новых национальных культур, создаваемых в этот период, стремится к утверждению собственных государственных институтов, которые были бы в состоянии ее защитить. Однако возникает ситуация, при которой огромная множественность культур не в состоянии создать такое же количество государств — для этого просто не хватает социального пространства. Глубинная причина основного конфликта «века национализма», считает Геллнер, налицо. Здесь с ним можно согласиться, добавив, что это лишь одна из причин.

МИЛЛЕР А. И., канд. ист. наук, научн. сотрудник ИСБ

Коль скоро речь зашла о концепции профессора Геллнера, хочу остановиться на его понимании природы национализма в Центральной и Восточной Европе. Британский ученый выделил пять стадий становления принципа национализма в политическом развитии рассматриваемого субрегиона. Первая (с 1815 г.) — отвержение этого принципа, внесенного

в политическое развитие Центральной Европы Французской революцией и наполеоновскими войнами. Легитимизм Священного союза базировался на религиозном и династическом принципах, так что для изображения политической карты этой части Европы достаточно было трех цветов, обозначающих территорию Османской, Австрийской и Российской империй. Вторая стадия (с 1848 г.) — национальный ирредентизм, когда в идеологии принцип национализма начинает господствовать. Активизируется процесс формирования однородных национальных культур, политического самосознания. На третьей стадии (с 1918 г.) национализм становится доминирующим принципом. Проведение границ новых национальных государств в условиях этнической чересполосицы региона не могло не игнорировать права меньшинств. Возникли новые меньшинства из частей прежде доминировавших групп — немцев, венгров. (Их история представляет особый интерес в плане сопоставительного анализа положения русских в провозгласивших независимость республиках бывшего СССР.) Четвертая стадия характеризуется тенденцией к культурной гомогенизации новых государственных образований. Государство легитимизирует себя защитой культуры. Мирный способ достижения этой цели — ассимиляция меньшинств. Но широко применяются и насильственные методы, показавшие свою высокую эффективность — геноцид и массовые депортации. Пятая стадия, которую основная часть Европы переживает в настоящее время, — это постепенное снижение напряженности в сфере национальных отношений, что отчасти связано с характером современного социально-экономического развития, но в немалой мере и с «успехами», достигнутыми в рамках предыдущей стадии.

Тоталитарные режимы «социалистических» стран продолжали прибегать к практике, характерной для четвертого из выделенных Геллнером этапов, и после войны (акция «Висла» в Польше) и даже в 80-е годы (Румыния, Болгария). Вместе с тем возможность межгосударственных конфликтов на этой почве была блокирована жестким советским контролем. Послевоенные реалии получили со временем достаточную стабильность и легитимность, так что Центральная Европа перестала, похоже, быть ящиком Пандоры.

Однако западная часть СССР может до некоторой степени унаследовать эту роль. По мере суверенизации республик могут обрести неожиданную остроту территориальные вопросы, существующие между Белоруссией, с одной стороны, Украиной и Литвой — с другой. Есть спорные моменты между Украиной и Россией. Весьма серьезной проблемой является и недостаточная однородность Украины как таковой. На этой территории есть значительные польское и венгерское меньшинства. Огромный взрывной потенциал таит проблема, которую условно можно обозначить как «Румыния — Молдова».

ЕДЕМСКИЙ А. Б., канд. ист. наук, научн. сотрудник ИСБ

Подход к национализму как к феномену со сложной структурой перспективен. Нет в принципе возражений против идеи, согласно которой в его глубинном основании лежат социально-экономические факторы. Но хотелось бы добавить следующее: стремление этноса обрести государственность является объективной закономерностью. Это своего рода закон развития человеческой цивилизации. В сознании народа генетически «запрограммировано» желание состояться как «нация», обрести политическую независимость и собственную государственность. Без государственности этнос чувствует себя обделенным и исторически неполноценным, как бы не имеющим «сертификата» на обоснованность своего существования в истории. Иное дело — существуют ли для этого экономические, международные и иные предпосылки.

Всплеск национальных движений в настоящее время можно рассматривать на двух уровнях — глобальном и внутреннем. Само понятие «национализм» возникло одновременно с развертыванием буржуазных революций в Европе, распадом многонациональных империй, стремлением народов вырваться из средневекового феодального наследия. Национализм как идеология и политическая доктрина актуален и в конце нашего столетия. Всплеск национализма мы наблюдаем сейчас в посткоммунистических странах ЦЮВЕ. Это достаточно просто объяснить, если признать, что начиная с 80-х годов в индустриально развитых странах и в странах «третьего мира» осуществляется вторая волна буржуазных революций, которая к концу 80-х годов докатилась и до стран «социалистического содружества». А в случае СССР также можно говорить о распаде коммунистической империи, попытках народов, ее населявших, вырваться из строя, природа которого имела много общих черт с феодальным и даже рабовладельческим обществом.

Всплеск национализма во многом связан с демонтажом тоталитарной системы с ее административно-командным распределением, связан с движением к рынку. В процессе перехода обществу приходится устранять укоренившиеся традиции и последствия административно-командного распределения, проводившегося слоем аппаратчиков разных национальностей (своеобразного «бюрократического интернационала», не имевшего серьезных национальных проблем внутри своего слоя, хотя, разумеется, «землячество» играло определенную роль при выдвижении на высшие посты). В настоящее время отсутствие культуры конкуренции — необходимого условия деятельности на жестком рынке — неизбежно ведет к всплеску межнациональных противоречий. На этом же пытаются сыграть и коррумпированные силы, не желающие расставаться с уходящей от них властью и опасаящиеся «экспроприаций» и возмездия за бесчинства в процессе первоначального накопления капитала, прикрывавшегося лозунгом «строительства социализма».

Безусловно, в отдаленной перспективе (и опыт индустриально развитых стран это достаточно определенно демонстрирует) рынок способен сгладить межнациональные противоречия. Товаропроизводителю безразлично, кто покупает товар, главное — получение прибыли, а покупателю безразлична национальность продавца или товаропроизводителя, так как главное для него — качество товара и его доступность. Но для достижения указанной цели потребуются десятилетия, и переход в новое качество, к сожалению, обещает быть чрезвычайно болезненным. А это довод в пользу живучести национализма в грядущие десятилетия.

И еще одно соображение. Рискуя впасть в противоречие с материалистической методологией, сформулирую тревожащее предположение. Многие факты свидетельствуют, что национальные эмоции находятся где-то в пограничной зоне между подсознанием и разумом и последний нередко отступает перед необузданными «темными» чувствами.

КОЛСТО Пол — профессор Университета в Осло. Институт восточноевропейских и восточных исследований

Мне близка идея об актуальности изучения эмоционально-психологической стороны национализма. Хочу начать с примера, который, на мой взгляд, красноречиво иллюстрирует глубину исторических корней национальной психологии. Во время гражданской войны в России белые генералы защищали «единую и неделимую» Россию более последовательно и упорно, чем их красные оппоненты. Никто из них всерьез не рассматривал возможность отказа от пограничных районов во имя спасения русского центра. Поразительно при этом, что территории, на которые распространялась власть белых, находились на периферии России. Высту-

нив с идеей предоставления им независимости, они могли бы получить мощную поддержку среди местного населения в борьбе против большевиков. Казалось бы, самый элементарный политический расчет подсказывал такую линию поведения. Не исключено, что отказ от нее способствовал, как ни что другое, поражению белого движения. Следуя логике такого мышления, легко понять, почему ряд некоммунистически и антикоммунистически настроенных русских эмигрантов в 20-е годы объявили о своей лояльности новой большевистской власти. Они пришли к убеждению, что только режим Ленина способен объединить распадающуюся империю. Эти настроения пропитывали мышление русского эмигрантского движения, которое стало известно как «сменовеховство».

Уместно поставить вопрос о том, в каких же глубинах истории России должно было сформироваться такое имперское сознание, столь сильно воздействующее на представителей правящего класса. Отвечу кратко. Становление русской мультиэтнической империи началось в 1552 г. с завоевания Казани. С этого времени, включая и XIX в., шел процесс формирования обширной империи за счет приращения территорий с нерусским населением. Военно-политические процессы созидания огромной евразийской империи сопровождались разработкой соответствующей идеологии и формированием массового имперского сознания, которые можно характеризовать как национально-религиозный мессианизм. Начало ему положила концепция монаха Филофея о Москве как Третьем Риме, сформулированная им в письме к великому князю Василию III в 1505 г. Со временем эта концепция все больше утрачивала религиозный характер, становясь светской. Удивительно, но факт: территориальный экспансионизм воспринимался в русском обществе как нечто естественное. Поражает не наличие разнообразных теорий, оправдывающих имперскую экспансию царей, а отсутствие интереса в русском обществе к такого рода оправданиям. Экспансионизм советской политики также нельзя объяснить только коммунистической идеологией, она была усилена русскими экспансионистскими традициями. Глубина и устойчивость имперского сознания русского правящего класса в период гражданской войны и вскоре после нее объясняется существованием этой долговременной традиции.

МУРАДЯН А. А. Отстаивая тезис о социально-экономических основах национализма, я совсем не утверждаю, что в каждом конкретном акте национальных движений или в индивидуальных поступках мы можем обнаружить непосредственные экономические интересы действующих лиц. Речь идет о тенденции и о методологическом принципе теоретического анализа. На практике же мы сплошь и рядом сталкиваемся с весьма высокой степенью относительной самостоятельности национальной психологии и национального сознания. Более того, и в настоящее время в нашей стране есть идеологи и общественные силы, для которых характерно, как это ни удивительно, традиционное российское имперское мышление вполне в духе монаха Филофея со всеми его атрибутами, включая и образ народа-богоносца. Есть очень интересные и профессионально добротные исследования этой темы, в частности, работа американского профессора А. Янова «Русская идея и 2000-й год», в которой анализируются взгляды современного советского идеолога Геннадия Шиманова. Рассуждения Шиманова о том, что Советский Союз — это «мистический организм», призванный стать «духовным детонатором» для человечества, весьма примечательны. «Иначе говоря, — резюмирует суть идеи Шиманова А. Янов, — СССР — лишь лаборатория избранного народа для проведения практических опытов предстоящей „православизации мира“. В этом смысле русский народ — исключение. Ему, если перевести мистические озарения Шиманова на язык практической политики, позволено иметь империю».

Итак, формы национального сознания могут продолжать жить даже много времени спустя после исчезновения социально-экономических условий, их породивших. Поэтому тезис о приоритете социально-экономических факторов в формировании национальной идеологии, национальной психологии, чувств и эмоций нельзя воспринимать примитивно. Отношение к этому как к догмату на практике порождало иллюзию: достаточно обозначить политику властей в национальном вопросе термином «социалистическая», и общественное сознание автоматически начнет формироваться в указанном направлении. Парадокс в том, что такой подход на деле и является выразительным примером отрицания социально-экономической природы национализма и приписывания идеологии сверхъестественных возможностей в формировании общественного сознания.

КОЛСТО П. В некоторых кругах обществу вашей страны высказываются и явно антиимперские идеи. Вопрос ставится так: надо спасать не империю, а русскую нацию. Одна из наиболее радикальных программ этого плана принадлежит активисту «Демократического союза» Владимиру Балахонову. Летом 1989 г. в издании «Свободное слово» он опубликовал статью «Сохранение империи, или самосохранение на пути национального суверенитета — главная национальная проблема русского народа сегодня». Она была перепечатана в «Русской мысли» (Париж). По его мнению, сама величина русской нации в сочетании с идеологией русского «мессианизма» и параноидным ощущением опасности от жизни в осажденной крепости породили на Западе и в национальных меньшинствах в стране страх перед всем русским. Поэтому надо расчленить на части не только «большую империю» — СССР, но и «малую империю» — РСФСР. На территории последней можно было бы создать четыре суверенных государства: новое «московское» государство в европейской России, западосибирское, восточносибирское и дальневосточное. Я сейчас не говорю о том, насколько реален этот план. Но сам факт появления подобного образа мыслей весьма интересен.

РОМАНЕНКО С. А. канд. ист. наук, научн. сотрудник ИСБ

Представления о возможности легкого решения национальных проблем в случае демонтажа «советской империи» или Российской Федерации иллюзорны. Об этом говорят опыт и итоги распада Австро-Венгерской монархии. Ее крах не означал решение национального вопроса, не снимал проблемы национального самоопределения в Центральной Европе. Образовавшиеся на развалинах империи независимые государства были многонациональны лишь по названию. Во многих из них установились авторитарные и тоталитарные режимы, проводившие по отношению к национальным меньшинствам гораздо более жесткую, нежели монархия Габсбургов, политику. Распад монархии обострил межнациональные отношения в Центральной Европе, переведя их во многих случаях на уровень межгосударственных. Этот груз оказался не по силам государствам — наследницам Австро-Венгрии в межвоенный период. Да и сейчас, в известном смысле, страны ЦЮВЕ не только переживают последствия пятидесятилетнего тоталитарного правления, но и изживают грехи многонационального государства, не сумевшего в критический момент найти верный путь реформ.

Опыт Австро-Венгрии актуален, как мне представляется, и тем, что общественно-политическая мысль того времени располагала целым набором различных теорий в области межнациональных отношений. В их спектре одно из заметных мест занимают концепции крупнейших теоретиков австрийской социал-демократии — К. Реннера и О. Бауэра. Оба теоретика в своих работах, соответственно «Государство и нация» (1899)

и «Национальный вопрос и социал-демократия» (1906), исходили из интересов экономического развития и считали возможным, даже необходимым, сохранение единого многонационального государства. Они рассматривали возможность национального самоопределения только в форме культурно-национальной и персональной автономии, выступали против права на отделение. При этом они не считали, что стремление нации к самоопределению всегда является отражением центробежных и дестабилизирующих тенденций, ведущих к распаду многонационального государства. Право наций на самоопределение понималось исключительно как акт осознания индивидуумом своей принадлежности к этнической общности. В нынешней ситуации, когда ход исторического развития вернул нас, по меткому замечанию ряда публицистов, в XIX в., где доминировала идея национального самоутверждения, концепции австро-марксистов представляются особо интересными и практически важными на пути поиска бесконфликтного решения межнациональных противоречий в бывшем «социалистическом лагере».

НОВОПАШИН Ю. С. Обсуждение общих вопросов национализма для нас не самоцель, а мостик к более конкретным проблемам роли национального фактора в международной политике в Восточной Европе. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на общетеоретические положения, более глубоко понять интересующие нас процессы, определить их перспективы. Вспомним о национальном воссоединении немцев в рамках единого государства. Событие весьма впечатляющее во многих отношениях. Его международные последствия еще предстоит осмыслить. Цивилизованно, без эксцессов, при благожелательном отношении мирового сообщества, прежде всего ближайших европейских соседей, произошло воссоздание крупного национального государства.

АБАЕВА Л. Н., канд. ист. наук, старший научн. сотрудник ИМЭПИ

Воссоединение немцев породило надежды в ряде стран на возможность повторения «немецкого опыта». Надо тщательно разобраться, что в данном случае уникально, а что общезначимо. Начнем с краткого экскурса в историю. Если бы в 1949 г., ставшем датой рождения двух германских государств на немецкой земле, кто-нибудь сказал, что Германия будет разделенной свыше 40 лет, ему бы не поверили. С первых шагов раздельного существования обе страны неизменно подчеркивали приоритетность политики воссоединения перед всем кругом внешнеполитических проблем. Казалось, правительства ГДР и ФРГ предусмотрели все необходимое, чтобы сохранить ткань нации единой. Воссоздание единства как главная цель было зафиксировано в конституциях обоих германских государств: в Основном законе ФРГ положение о единстве оставалось неизменным вплоть до наших дней, в ГДР оно упоминалось последний раз в Конституции 1968 г. Задача воссоединения Германии присутствовала во многих международных договорах ГДР и ФРГ, заключенных с их союзниками.

Концепция воссоединения, выдвигаемая ФРГ, уже в 50-е годы обрела строгие правовые формы. Правовой костяк модели Германии в условиях раскола представляли теория рейха и теория общегерманского гражданства. Причем рейх выступал здесь не только как национальный символ, но и как категория, сохраняющая международно-правовые качества, так как именно Федеративной республике предназначалось олицетворять собой продолжающий существовать, но временно недееспособный рейх. Соответственно продолжает свое существование и немецкий народ с его неотъемлемым правом на самоопределение. Общий вывод, имевший огромное конкретно-практическое значение для существования двух германских государств, сводился к тезису о том, что оба они не могут быть друг

для друга за границей, а следовательно, для немцев сохраняется общее гражданство.

Несмотря на отрицание данного варианта правового разрешения национальной проблемы (концепция ГДР исходила из крушения рейха и возникновении на его обломках в качестве правопреемников двух германских государств), в принятом 20 февраля 1967 г. в ГДР законе о гражданстве оно рассматривалось исключительно как элемент государственности вне связи с национальной проблематикой. Документы первого десятилетия раздельного существования свидетельствовали об усилиях двух стран к позитивному решению германского вопроса. Особо следует выделить ГДР: прежде всего, с ее стороны исходят многочисленные общегерманские инициативы. Восстановление единства страны на демократической основе рассматривалось руководством ГДР как необходимое условие равноправного участия Германии в международных делах, ее национальной независимости. Наступательный тон руководства ГДР в вопросах национальной политики определялся учетом объективной тяги населения двух стран к единению, а также реалиями социально-политической и духовной жизни. Правительство ГДР выступало за тесное экономическое сотрудничество, взаимодействие во внешней торговле, развитие разветвленных культурных связей.

Однако после подписания Парижских соглашений, санкционировавших включение ФРГ в Западный союз (февраль 1955 г.), отношения двух германских государств характеризуются усилением расхождений в политике, затрагивающей основополагающие проблемы. Начало строительства социализма в ГДР предопределило коренное изменение в трактовке социального содержания национальной проблемы, на первый план выдвигалась теперь борьба не на государственном, а на классовом уровне. Каждая из сторон стремилась навязать другой вытекающую из ее природы форму отношений, что не могло не вести к конфликтности.

Разительные перемены в национальной политике ГДР, начатые объявлением о строительстве в стране социалистической немецкой нации на VIII съезде СЕПГ (июнь 1971 г.), показали, что единство нации, вопреки предшествующим официальным заявлениям, не относится к первоочередным ценностям в принятой руководством страны шкале внешнеполитических приоритетов. Отступление руководства ГДР от взятой на себя роли «единственного радателя о единстве нации» началось еще раньше, со времени проведения правительством Брандта — Шеелля «новой восточной политики» (середина 60-х годов), отмеченной поисками контактов с восточноевропейскими соседями, в том числе с ГДР. Реакция руководства ГДР была однозначной: оно объявило об отказе от построения конфедерации двух германских государств (за что В. Брандт обвинил его в измене единству нации). Выдвинутая тогда формула Э. Бара об «изменении путем сближения» оказалась для руководства ГДР куда более опасной, чем воинственные лозунги ХДС/ХСС о «фронтальном освобождении Восточной Германии».

По мере развития отношений между двумя германскими государствами руководству ГДР все больше приходилось считаться с перспективой усиления общегерманских настроений, ростом надежд на возрождение единой Германии, словом, со всем, что оказывало дестабилизирующее воздействие на внутривнутриполитическую обстановку в стране. Этот процесс был объясним и неизбежен: ГДР находилась в явном проигрыше по сравнению с ФРГ не только по чисто экономическим параметрам, но и по обладанию ее населением гражданскими свободами. Я считаю, что для граждан ГДР важными были не столько общегерманские настроения, сколько сама ФРГ как мера образа жизни, ибо ее промышленность за короткий срок стала движущей силой Западной Европы, немецкая марка — одной из

самых прочных валют, достаточно стабильно развивалась западногерманская демократия. Новые каналы общения позволяли немцам сравнивать преимущества и недостатки обеих систем. Авторитарный режим ГДР не выдерживал сопоставления с западногерманской демократией, углубляя настроение «внутренней эмиграции» в ГДР, особенно у ее интеллигенции. Вот такая обстановка сложилась в обоих германских государствах к концу 80-х годов.

В отличие от других восточноевропейских стран революционные преобразования в ГДР получили особый международный резонанс, так как оказались напрямую связанными с «германским вопросом». Современные процессы с их общим для всех бывших социалистических стран стремлением к восстановлению рыночных структур, переоценкой результатов социалистического строительства, повсеместной тягой к западным ценностям, в целом укрепляющие государственность в Польше, Чехословакии, Болгарии, для ГДР обернулись подрывом ее государственных структур, потерей смысла сепаратного существования республики. Взаимоотношения ГДР и ФРГ вступили в новую фазу.

Немногочисленные лозунги об «объединенном отечестве», выдвинутые на лейпцигских манифестациях осенью 1989 г., послужили для федерального правительства сигналом к наступлению. Уже 28 ноября Г. Коль выдвинул план поэтапного создания единого германского государства. Поначалу казалось, что канцлер ФРГ ошибся в анализе политической ситуации в ГДР, где большинство жителей, согласно социологическим опросам, считали «обновленный социализм» с элементами рыночной экономики достойной целью «перестройки». Его план был встречен с известным скептицизмом как на Востоке, так и на Западе. Однако последующее ощутимое продвижение дела объединения свидетельствует о прозорливости западногерманского руководства.

Темпы, продиктованные канцлером Коелем, не имели реальной оппозиции. Наблюдался массовый исход наиболее молодых и честолюбивых групп населения ГДР в Западную Германию, что дестабилизирующе воздействовало на обстановку в обоих государствах. Стремление к единому отечеству имело первопричиной не романтические надежды на обретение «общей истории и общей судьбы» (о чем писали многие западногерманские политологи), а прозаические социально-политические причины. Сердцевинной воссоединительного порыва стал экономический расчет — «национализм немецкой марки», как пишут об этом леволиберальные западногерманские интеллигенты.

Главной сложностью во взаимоотношениях двух германских государств было возникновение проблем более широкого плана, касающихся отношений Восток — Запад, будущей Германии, будущего противостоящих военных союзов. Всем становилось ясно, что открывался новый этап послевоенной истории, связанный с полной ломкой ялтинских урегулированных. В известном смысле, новая страница во взаимоотношениях двух германских государств послужила испытанием для годами провозглашаемых великими державами принципов. Крах проверенного десятилетиями уклада и удобной стабильности застал врасплох великие державы, которые неожиданно обнаружили, что ключи от решения германской проблемы незаметно перешли к ФРГ.

При всем разбросе мнений факт самоопределения немецкого народа был оценен мировой общественностью позитивно, как исторически оправданный. Вместе с тем перспектива объединения Германии, последствия которого касаются всей Европы, да и не только ее, обнажила целый пласт политических, социально-экономических, военно-стратегических и других «срезов» сложнейшего «германского вопроса», лежащих за пределами компетенции германских властей. Демонстрируя понимание известной

интернационализации германских дел, федеральное правительство не раз заявляло, что право на самоопределение не рассматривается им как абсолютное. Его осуществление требует учета всей совокупности европейских проблем. Правительство ФРГ демонстративно подчеркивало свою заинтересованность в синхронизации германского объединения и европейской интеграции, неоднократно заявляло о том, что существование Германии возможно только в качестве составной части европейского мирного порядка, что ее национальная судьба неразрывна с судьбой Европы.

Объединение, проведенное консервативными политическими кругами, стоявшими за Г. Коелем, обеспечило поворот вправо. «Чудо объединения» не готовилось народным движением, это была своеобразная «революция сверху». Поглощение ГДР не могло быть безболезненным. За воссоединение приходится платить немцам, живущим по обе стороны Эльбы. Но в целом большинство населения Восточной Германии все же положительно воспринимает полученную возможность жить одной немецкой семьей, понимая, что падение границ не может не сопровождаться катаклизмами.

Немецкое единство в какой-то мере оказалось неожиданным и для самих немцев. До настоящего времени нет целостной внешнеполитической концепции федеральных властей, определяющей место объединенной Германии в Европе и в мире. В каком направлении будет развиваться внешняя политика единой Германии после того, как спонтанность и импровизации будут вытеснены твердыми выводами? Предстоящий переходный период достаточно сложен для Германии: она должна успокоить тех, кого тревожит ее прошлое, а также тех, кто опасается ее будущей политической и экономической мощи. Ей предстоит решить сложные внутренние задачи, связанные с преодолением кризисных явлений в бывшей ГДР.

Правительство Коля заверяет мировое сообщество, что присоединение 16 млн немцев и пяти новых земель не скажется значительно на развитии внешней политики. Некоторые наблюдатели (даже внутри самой Германии) считают, что объединение может поощрить возрождение былых национальных амбиций и агрессивности. Существует также мнение о том, что объединенная Германия несомненно приобретает новую и ответственную роль ведущей державы.

НОВОПАШИН Ю. С. Подводя итог только что сказанному, можно утверждать, что опыт германского воссоединения во многом уникален — и с точки зрения внутреннего развития обеих стран, и с точки зрения международных обстоятельств. Механически переносить этот опыт на другие случаи было бы неразумно. Хотя мы знаем примеры, когда предстатели некогда разделенных государственных границами народов ставят вопрос так: «Почему немцам можно, а нам нельзя?»

МИРОШНИКОВ В. В., канд. ист. наук, научн. сотрудник ИСБ

Существует устойчивое заблуждение, что послевоенная Польша — это этнический монолит, не знающий межнациональных проблем. Однако в Польше есть национальные меньшинства, есть проблемы, связанные с межнациональными отношениями. Более того, можно даже говорить об остроте, почти болезненности их восприятия общественностью страны. Видимо, сказываются последствия многовековой вражды с могучими западными и восточными соседями. Отсюда устойчивые психологические стереотипы восприятия соседей, повышенная травмированность национального чувства.

С фобиями, вызываемыми исторической памятью и направленными во вне, связана зачастую негативная окраска межнациональных отношений внутри страны на современном этапе. Например, неприязнь к укра-

инцам нередко принимает форму бытовой иронии. Негативное отношение прорывается временами и на страницы печати. Так, если в прессе сообщается о каком-либо рецидивисте — украинце по национальности, то подчеркивается факт его национальной принадлежности, хотя к сути дела это не имеет никакого отношения. При упоминаниях о вооруженных националистических украинских формированиях, сотрудничавших с германскими оккупантами, часто пишется просто «украинцы». Имеет место и русофобия, чаще всего проявляющаяся в связи с упоминанием о репрессиях против поляков и депортациях польского населения с территорий, отошедших к Советскому Союзу. Кстати, весьма массовой является трактовка «польскости» этих территорий, особенно Львова и Гродно. Но в то же время нигде не упоминается о необычайно жестоком переселении на запад Польши украинцев с восточных территорий. Оно, а также вообще репрессии против украинцев во второй половине 40-х годов со стороны польских органов госбезопасности стали часто затрагиваться в немногочисленной периодике украинцев Польши. Естественно, в этом усматривается подоплека преследований на национальной почве. Небезынтересно и то, что в печатных изданиях практически отсутствуют упоминания о каких-либо положительных моментах в польско-украинских отношениях.

Следующее национальное меньшинство, положение и роль которого в общественно-политическом развитии Польши вызывает определенные противоречивые оценки и суждения, — евреи. В польской исторической литературе и публицистике воздано должно трагедии еврейского народа в годы второй мировой войны. Мартирологии польских евреев посвящены многочисленные публикации, в том числе подготовленные совместно с израильскими учеными. Более того, последние годы отмечены усилением внимания к истории польских евреев, особенно к ее трагическим эпизодам. Имеется много суждений о неразрывной связи в многовековой истории поляков и польских евреев, о вкладе последних в развитие экономики и культуры Польши.

Однако в общественном сознании поляков евреи воспринимались не всегда положительно. Наряду с так называемым бытовым антисемитизмом довольно устойчивым является мнение об особом участии евреев в репрессиях второй половины 40-х — 50-х годов. Основанием для этого служит тот факт, что органы госбезопасности тогда находились в ведении наиболее одиозных фигур в политическом руководстве — лиц еврейского происхождения. Весьма распространены суждения вообще о большой приверженности евреев сталинизму, так как они часто занимали должности на различных уровнях партийно-государственных структур. На отношении к евреям сказывается и распространенное мнение о тесных связях, даже взаимодействии руководства израильской армии и некоторых членов командования Войска Польского — евреях накануне и в ходе арабо-израильской войны 1967 г. Проверить или опровергнуть это мнение не просто. В силу этих и иных причин события 1968 г. и последовавшая за ними конформистская кампания были густо окрашены в антисемитские тона. На протяжении 70-х годов об этом как бы забылось, а 20-я годовщина событий в 1988 г. ознаменовалась официальным осуждением тогдашнего антисемитского всплеска. Это, однако, не ликвидировало бытовой антисемитизм. По-прежнему распространены суждения о «засилии» евреев, в том числе в прессе. Словом, наряду с демонстрацией доброжелательности в отношении евреев имеет место также и усиление антисемитских настроений. Это воспринимается самими евреями как «иррациональный антисемитизм без евреев». Их численность в Польше в настоящее время оценивается в 5—10, максимум — 15 тыс. человек.

Одно из национальных меньшинств, привлекающее к себе внимание и

общества и государства, — немцы. Долгое время в послевоенной Польше официально отрицалось существование в стране немцев, по крайней мере как более или менее многочисленной компактной национальной группы. Говорили о силезцах — своеобразном двуязычном этносе. Наличие силезцев не оспаривается и сейчас, но как бы «неожиданно появились» и настоящие немцы. Причем численность немцев в Польше, по разным оценкам, доходит до одного миллиона, что больше численности украинцев и белорусов, вместе взятых. Вопрос польских немцев еще не до конца выкристаллизовался, однако, и сейчас ясно, что он усилил антинемецкие настроения, и без того достаточно укоренившиеся в сознании поляков.

АБАЕВА Л. Н. Конечно, корни антигерманских настроений и страстей в польском обществе не ликвидировать в одночасье. Так, почти две трети населения Польши к началу 1990 г. высказывалось против объединения Германии, считая это потенциальной опасностью для страны. Но вместе с тем идея исторического примирения между немецким и польским народами завоевывает популярность в обоих государствах. Для Польши ее отношения с Германией — ключевой момент в прогнозируемой интеграции с Европейским сообществом (ЕС), где Германии отводится роль своеобразного моста для продвижения Польши на Запад. Определенные шаги в этом направлении предпринимаются руководством ФРГ. Так, немцы поддерживают просьбы Польши о сокращении ее задолженности западным странам, о форсировании ее вступления в ЕС в качестве ассоциированного члена. В целом, стороны сблизили свои позиции в отношении национальных меньшинств, проживающих на территориях Польши и ФРГ: были облегчены процедуры регистрации землячеств, расширены возможности для сохранения культуры, языка, традиций, полнее стала свобода деятельности для всех организаций национальных меньшинств (за исключением права на создание территориальных автономий). Федеральное правительство обнародовало понимание стремления поляков жить в обеспеченных границах, а со стороны Польши было проявлено лояльное отношение к процессу объединения Германии. В ходе переговоров немецкая сторона постаралась отменить тот факт, что вновь приобретенные Польшей западные и северные земли отнюдь не являются «исконно польскими» и могут рассматриваться лишь как своеобразная компенсация за потерю польских территорий на Востоке (отошедших к Советскому Союзу).

Достаточно длительный переходный период, в который вступает Польское государство, будет несомненно отмечен отчетливым стремлением стать интегральной частью западного сообщества. Это сопряжено со все большим сближением с ФРГ и отходом от СССР. Устоявшаяся политическая традиция обращения на Восток в поисках твердых гарантий собственной безопасности постепенно будет разрушаться. Однако Польша не может не считаться с тем, что Советский Союз, несмотря на дезинтеграционные процессы, разруху, сохраняет статус великой державы, поэтому похолодание в отношениях будет строго дозироваться польской стороной.

ХАРЦИЕВА Г. Ю., канд. ист. наук, научн. сотрудник ИСБ

И Чехословакию не обошли стороной национальные проблемы. После «нежной революции» 1989 г. они постепенно приобрели в Словакии немалую остроту. Наследие тоталитаризма в политике, экономике и культуре, нерешенность словацкого национального вопроса, недовольство венгерского меньшинства ограничениями в области образования и в других сферах, словакизация и украинизация русинов, отсутствие внимания к проблемам цыган — все это и многое другое, скрывавшееся и подавлявшееся тоталитарной системой, закономерно всплыло ныне на поверхность внутривнутриполитической жизни.

Одним из основных компонентов национального вопроса в Словакии

ж ЧСФР в целом является проблема словацко-чешских отношений, проблема будущего чехословацкой государственности. Особое внимание этот вопрос привлек к себе с конца марта 1990 г. Принятое тогда Федеральным собранием решение о двойном названии государства вызвало, как известно, бурные демонстрации в Словакии и весьма неоднозначную реакцию в Чехии. В период перед июньскими парламентскими выборами «традиционные» и вновь созданные словацкие партии по своим взглядам разделились: одни безоговорочно стояли за сохранение федерации, но в обновленной, демократической форме, другие выступали за Словакию как независимое государство. Возможно, что национальные противоречия между чехами и словаками нередко используются представителями отдельных партий и группировок Словакии в их борьбе за власть и влияние в республике, но одно это ничего бы не объяснило. Эти противоречия, недовольство словаков своим положением возникли не на пустом месте, и прежде, чем окончательно решится судьба федерации, словаки должны поверить, что их национальные права будут гарантированы и соблюдаться не на словах, только после этого они поверят, что Чехословакия есть и государство словаков.

Другая сторона национальной проблемы — положение национальных меньшинств. Наиболее остро встал вопрос о венгерском меньшинстве, особенно о его правах в Южной Словакии (из 5,1 млн населения Словакии 580 тыс. составляют венгры). На страницах словацкой печати эта проблема начала обсуждаться уже в первые месяцы после «нежной революции». Если для коммунистической печати, особенно в первые месяцы 1990 г., было характерно сглаживание острых углов и даже отрицание самой проблемы словацко-венгерских противоречий, то для националистически настроенных группировок, особенно внутри Словацкой национальной партии (СНП), объединившихся вокруг нее партий и организаций, — их преувеличение и раздувание. Так, например, осенью 1990 г. лидер СНП В. Мориц в одном из выступлений заявил: «Лучше приличный коммунист, чем какой угодно венгр».

Более взвешенную позицию с самого начала занимали представители движения «Общественность против насилия» (ОПН), Христианско-демократического движения, Демократической партии Словакии (ДП). В частности, новый председатель ДП Мартин Кветко еще в январе 1990 г. сказал о необходимости предоставления венграм всех необходимых условий для национального развития. При этом, однако, он оговорился: «Сделать это надо так, чтобы не страдала словацкая жизнь, как это до сих пор происходит в некоторых местах Южной Словакии. Словаки не могут там удержаться, так как там существует определенный шовинизм, делающий невозможным сосуществование венгров и словаков. При этом данная проблема, возможно, серьезнее, чем мы сознаем, учитывая, что за границей существует сильное эмигрантское движение, добивающееся того, чтобы венгерское меньшинство выделилось из республики».

За первыми шагами парламента и правительства Словацкой республики в сторону нормализации положения в этом районе последовала их переписка с представителями Венгрии. В апреле 1990 г. прошла Братиславская встреча ведущих деятелей Чехословакии, Венгрии и Польши, на которой, в частности, обсуждались проблемы национальных меньшинств. Последовали взаимные обещания чехословацкой и венгерской сторон сделать все необходимое для улучшения их положения и расширения прав. Одним из таких шагов явилось принятие 25 октября 1990 г. закона о словацком государственном языке с включением в него параграфа, относящегося к национальным меньшинствам, где, в частности, записано следующее: «Если представители национального меньшинства составляют в городе или в населенном пункте не менее 20% населения, то они могут

использовать там свой язык в официальных отношениях». Закон этот, правда, встретил неоднозначную реакцию в Словакии. Словом, проблема существует, но она вполне разрешима при наличии доброй воли с обеих сторон.

Из других национальных меньшинств наиболее многочисленным являются цыгане, которых, по неофициальным данным, в республике насчитывается около 500 тыс. Их движение также активизировалось. Прошли съезды, на которых говорилось о преследованиях цыган в предшествующие десятилетия, о тяжело воспринимаемом цыганами наличии в школах специальных классов для цыганских детей, а в больницах — специальных отделений. Было создано несколько организаций цыган, целью которых является борьба за повышение культурного и образовательного уровня своего народа, за его права.

В марте 1990 г. в ЧСФР появилась организация русин — народа, издавна живущего рядом со словаками (его численность в СР сейчас 100 тыс. человек). Движение «Русинское возрождение» однозначно выступило за единое Чехословацкое государство, отказалось от практиковавшейся коммунистами в период их правления «украинизации», провозгласив своей целью возврат к русинской национальной идентичности и отказ от ориентации на соседей с востока.

АБЛАЗОВА Л. С., канд. ист. наук, научн. сотрудник ИМЭПИ

Дезинтеграционные процессы в Югославии ставят под вопрос само существование Югославии как единого государства и осложняют всю международно-политическую ситуацию на Балканах. Национализм, как одна из причин этого, лежит на поверхности. Но есть и иные факторы. Дезинтеграционные процессы в СФРЮ имеют под собой не только националистическую, но и экономическую основу, точнее, эти две причины взаимосвязаны и взаимообусловлены. Национализм в Югославии часто стимулируется теориями о межнациональной эксплуатации, порождаемой различными уровнями экономического развития республик. Тезис о национальной «униженности» в экономическом, культурном отношении был козырной картой в руках многих партий, вступивших в борьбу на республиканских многопартийных выборах. Демократы и консерваторы, экстремисты и сторонники «нового порядка», даже приверженцы восстановления монархии эксплуатировали в предвыборной борьбе этот тезис. В результате правительстве страны, стремящееся проводить стабилизационную политику, встречает сопротивление самых разнородных сил.

С другой стороны, смещение центра тяжести власти по Конституции СФРЮ 1974 г. на места не могло не привести к росту автаркических установок в республиках, лишавших предприятия стимулов к кооперированию за пределами собственных республик, ведших к раздробленности производительных сил, разделению единого рынка различными административными барьерами и границами, постоянным административно-государственным ударам по экономике. В результате межреспубликанские капиталовложения составляют всего 0,3% от общей сметной стоимости строящихся в настоящее время в СФРЮ объектов. Границы республик и краев пересекает лишь четверть товарной продукции. Обособленная политическая жизнь в югославских республиках привела к появлению между ними таких трений, которые печасты и в межгосударственных отношениях.

Не менее важной, а, возможно, и одной из определяющих причин кризиса межнациональных отношений в Югославии является незрелость демократических структур в республиках. Само по себе проведение выборов на многопартийной основе еще не означает демократизации политической и экономической жизни. Нельзя забывать, что демократия не завоевывается раз и навсегда, ее нужно поддерживать и развивать. В условиях

экономического кризиса, политической нестабильности и национальной исключительности первой жертвой всегда бывает демократия. В итоге выборов в Хорватии, например, победила партия Хорватское демократическое содружество, т. е. одна однопартийная монополия сменилась другой. Провозглашение республиканского суверенитета и стремление к конфедеративному устройству Югославии не являются залогом победы демократических начал, равно как и ориентация на федеративные основы государства. Видимый конфликт межнациональных интересов является, как представляется, на нынешнем этапе конфликтом национальных структур, во многом унаследовавших отрицательные характеристики прежних бюрократических.

Любой процесс перемен, тем более касающийся многонациональной страны, несет в себе элементы неустойчивости. Поэтому главным в переходе к новым формам сосуществования югославских республик должен быть максимальный учет фундаментальных интересов всех субъектов федерации, а не психологическая война и взаимные обвинения. И не только внутренних интересов, но и интересов соседних стран и Европы в целом. Ведь Югославия — это в определенном смысле каркас, несущая конструкция Балкан, и ее разрушение отозвалось бы цепной реакцией по всей Европе. Единственный потенциально возможный и жизненно необходимый вариант эволюции — включение в цивилизационные европейские интеграционные процессы — очевиден в Югославии для всех. Но не везде господствует понимание того, что оптимальный сценарий предусматривает постепенное и тщательно подготовленное вступление в общеевропейские структуры и институты, которые хотят иметь дело с единой, устойчивой, демократической Югославией. Стабилизирующее значение международных отношений на внутреннее развитие стран ЦЮВЕ, включая и Югославию, как представляется, значительно возросло.

ЕДЕМСКИЙ А. Б. Одним из самых мощных детонаторов, взрывающих гремучую смесь национализма на Балканах, становится «сербский вопрос». Объективно, из-за разбросанности сербов по Балканам, интересы сербского народа затрагивают большинство государств региона. Создался «узлы напряженности» с Албанией, Венгрией, Болгарией, внутри федерации — с Хорватией, Македонией. Сознание сербов пропитано идеей ущемленности сербского народа в XX в. Оснований для этого более чем достаточно: огромные потери в первой мировой войне, геноцид со стороны усташей во второй, отсутствие значительных фигур — представителей сербского народа в политической элите Югославии со второй половины 60-х годов, выселение сербов из Косово и неуклонное превращение края в «этнически чистый» албанский район, общая экономическая и политическая слабость Сербии, автономии которой (Воеводина и Косово) имели на практике права, равные республике, в которую они входили, и т. п. Ущемленность национального сознания народа — благодатная почва для роста националистических настроений. Это стало основной причиной возвышения С. Милошевича — ныне Президента СР Сербия. Взлет его политической карьеры начался с внимательного отношения к требованиям многочисленных депутатий из Косово в сочетании с выдвиганием каскада антибюрократических лозунгов. Решительные действия С. Милошевича создали ему образ защитника сербского народа. Это во многом объясняет его личную победу с большим отрывом в борьбе за пост президента республики с В. Драшковичем, как и беспрецедентную победу отождествляемой с ним партии на выборах в декабре 1990 г., что весьма показательно в условиях отката коммунистов на периферию политической жизни во всех странах Восточной Европы. Думаю, что С. Милошевич, проводящий непопулярные преобразования в экономике, в целях удержания власти

и в дальнейшем будет вынужден делать более резким национальный компонент в политике, убирая социалистическую составляющую такого курса. Это приведет экс-коммунистов Сербии в лагерь правонациональных сил, цели которых ярко отражены в программе Движения за обновление Сербии В. Драшковица и в документах Радикальной партии В. Шешеля. В этом политическом лагере отчетливо выражено стремление к объединению разбросанных по всем Балканам сербов в единое государство в случае распада Югославии на ряд государств, чтобы защитить сербские национальные меньшинства. В этой связи можно напомнить слова заместителя председателя соцпартии Сербии С. Марковича, сказанные весной 1991 г., о том, что в случае провала попыток формирования Югославии из желающих остаться в ней республик Сербия создаст собственное государство в рамках этнических границ сербского народа.

Все основные политические силы Сербии, за исключением, пожалуй, Демократической партии, готовы на многое в целях объединения сербского народа в одном государстве. В настоящее время Сербия в силу ряда причин, среди которых рассеянность сербов по всей Югославии, — главный противник идеи трансформации федерации в конфедерацию или распада страны. Между тем последовательная политика на сохранение Косово в рамках Сербии неизбежно должна иметь следствием выход Сербии из Югославии. До настоящего времени ситуация была достаточно абсурдна. Албанцы — третья по численности этническая группа в Югославии — имели статус «национального меньшинства» («народности», по югославской терминологии), тогда как значительно меньшие по численности этнические образования имели статус «народа» и собственную государственность. В Сербии до настоящего времени твердо стояли на позиции, что албанцы Югославии являются «национальным меньшинством» по отношению к албанцам собственно Албании и не имеют права на название «народ». Политическая причина этого скрыта в том факте, что по Конституции СФРЮ 1974 г. «народ» имеет право на самоопределение вплоть до отделения. Обретение Сербией независимости превратило бы в рамках Сербского государства албанцев (около 1,7 млн человек) в национальное меньшинство относительно сербского большинства.

АБЛАЗОВА Л. С. Когда югославские дипломаты или исследователи-международники хотят охарактеризовать проблемы взаимоотношений с соседними странами, то говорят, что СФРЮ окружена «бригама». В переводе с сербско-хорватского это означает, что страну обступают заботы, тревоги. А если рассматривать приведенное слово как аббревиатуру, то получится перечисление заглавных букв названий пограничных с Югославией государств: Болгарии, Румынии, Италии, Греции, Албании, Венгрии, (Madarska), Австрии. Проблемы в двусторонних отношениях СФРЮ с каждой из этих стран — положение в них национальных меньшинств, т. е. представителей югославских народов. Отличия здесь велики. В Австрии и Италии хорватское и словенское меньшинства пользуются значительными автономными правами (имеют свои школы, средства массовой информации, органы местного управления и т. д.). На другом полюсе — отрицание на официальном уровне существования македонской национальности в Болгарии и Греции.

В эпоху националистической эйфории, характерной для ряда районов СССР, некоторых стран балканского региона, да и других восточноевропейских стран, проблема национальных меньшинств может привести к неподдающейся контролю ситуации в зависимости от развития внутренних и международных отношений. Есть много примеров того, что националистические движения в этих странах занимают реакционную позицию по отношению к национальным меньшинствам, причем уже не скрывая этого,

как в предыдущие периоды. Руководство Югославии в этой связи беспокоит возможность ухудшения межбалканских отношений. Поэтому, если раньше СФРЮ питала надежды на урегулирование проблемы национальных меньшинств в рамках регионального сотрудничества, то на последних встречах представителей балканских государств Югославия высказывается за необходимость правового решения проблем на уровне ООН, СБСЕ.

В числе национальных проблем балканского региона одним из наиболее сложных является македонский вопрос в отношениях СФРЮ с Болгарией и Грецией. Его сложность обусловлена этнической близостью народов, проживающих ныне на территории бывшей исторической области Македония. Позиции болгарского руководства по македонскому вопросу претерпели за послевоенные годы радикальные изменения: от признания македонской нации и наличия македонского национального меньшинства в Пиринской Македонии (Благоевградский округ) до отрицания в историческом плане наличия македонской нации как таковой и, следовательно, македонского меньшинства в Болгарии. Греция также отрицает существование македонской нации, языка, культуры и т. д., а этническое меньшинство, проживающее на территории Эгейской Македонии, характеризуется как «греческие граждане, говорящие на славянском языке», или «славофоны». Взгляды руководства СФРЮ по македонской проблеме диаметрально противоположны: оно настаивает на существовании македонской нации как в современном, так и в историческом плане и утверждает, что правительства Болгарии и Греции проводят по отношению к македонскому национальному меньшинству ассимиляторскую политику. Македонский вопрос, таким образом, стал фактором дестабилизации политических отношений.

О положении в автономном крае Косово, которому в соответствии с Конституцией Сербии 1989 г. было возвращено название Косово и Метохия, чтобы подчеркнуть исконную принадлежность этого края к Сербии, уже было сказано. Оно чрезвычайно сложно во многих отношениях. Как отмечалось на заседании Скупщины СФРЮ в мае 1990 г., здесь один из главных генераторов внутри- и внешнеполитической дестабилизации страны. Особый интерес, но и сомнения вызывает возможное влияние перемен в Албании на ее отношения с Югославией. Из-за внутренних кризисов и нестабильного международного положения ни та, ни другая сторона не заинтересована, как представляется, в ухудшении отношений. Однако это уравнение со многими неизвестными. Пока же албанские сепаратисты из Косово смотрят на Албанию с надеждой. А внутри Югославии средства массовой информации противостоящих Сербии республик убеждают население Косово, что для него демократическая Албания значительно привлекательнее Сербии.

Определенные проблемы стали возникать в отношениях Югославии с Италией и Австрией. Юридически положение национальных меньшинств (словенского и хорватского в Италии и Австрии, итальянского — в Хорватии и Словении) урегулировано межгосударственными соглашениями. Трудности появились после прихода к власти в этих республиках новых партий и их заявлений о возможном выходе из состава Югославии. Эти заявления возбудили итальянскую общественность.

ЕДЕМСКИЙ А. Б. Еще несколько слов о Косово. Проблема, по моему, будет обостряться. Сербское руководство действовало весьма жестко после прихода к власти С. Милошевича. Вспомним логику событий последних лет: был установлен тотальный контроль над Косово, приведен в соответствие статус автономии с теми правами, которыми она должна пользоваться. В ответ на это албанские депутаты парламента Косово про-

возгласили принятие конституции Косово, которая, в свою очередь, была объявлена в Белграде незаконной. Албанское население края принимало происходившее достаточно нейтрально, но в апреле 1991 г. перепись, проводившаяся в регионе, была фактически сорвана в результате бойкота. Сербские власти продолжают действовать так, будто ничего экстраординарного не происходит, тогда как силы Секретариата внутренних дел республики и военные предельно жестко подавляют все признаки недовольства со стороны «некоторых экстремистов». Конфликт в Косово, правда, в латентной форме, продолжает углубляться. Единственный шанс его мирного разрешения видится в том, что процессы «разгерметизации» Албании, ее попытки включиться в европейскую интеграцию создают возможности влияния на эту страну со стороны Европейского Сообщества и структур СБСЕ. Албания заинтересована в зарубежных кредитах и инвестициях. Это позволяет полагать, что в Тиране прислушиваются к напоминаниям Западной Европы о том, что единой Европе нужна единая Югославия. В свою очередь, лидеры новых партий Албании выражают стремление исходить в вопросах внешней политики из норм Хельсинского процесса, отмечая, что «объединение граждан албанской национальности... видится в русле демократического интеграционного процесса в будущей объединенной Европе». Но все же пока нет оснований с полной уверенностью исключить возможность того, что в условиях обострения борьбы за власть в Албании или осложнения положения в Косово противостоящие политические течения в Тиране объявят Косово «внутренним делом албанского народа», не подлежащим регулированию международными нормами Хельсинского процесса.

Вообще, хочу сказать, что нельзя недооценивать возможности спекуляций тех или иных политических сил национальным вопросом. «Национальная карта» разыгрывалась руководством коррумпированных коммунистических режимов в прошлом постоянно. Это был крупный козырь, используя который элита стремилась отвлечь внимание «управляемых» от провалов во внутренней и внешней политике, обратить гнев народа в сторону подбрасываемого ему «образа врага». Думаю, что мы еще неоднократно будем свидетелями попыток разыграть «националистическую карту».

НОВОПАШИН Ю. С. Мы фактически уже вышли за рамки Югославии и говорим о Балканах в целом. Недавно в одной из газет я прочитал заметку под заголовком «Балканы на вулкане», в которой говорилось о том, что взрывное устройство обостряющихся межнациональных отношений угрожает крушением стабильности не только Югославии, но и всего региона и сопредельных стран.

СЕЛИВАНОВА И. Ф., канд. ист. наук, научн. сотрудник ИМЭПИ
Мне кажется, что образ вулкана националистических страстей и эмоций, угрожающих международной стабильности в Юго-Восточной Европе, вполне уместен. Может быть, моя точка зрения слишком субъективна, но я считаю, что румыно-венгерские межнациональные противоречия являются, пожалуй, одной из важных причин политической нестабильности в Европе. Дело в том, что они не замыкаются на двусторонних отношениях, а непосредственно затрагивают румыно-советские, румыно-молдово-советские, молдово-украинско-советские связи. В румыно-венгерских отношениях «яблоком раздора» является Трансильвания, область с этнически смешанным румынским и венгерским населением, составляющая свыше четверти территории Румынии. Румыно-венгерский антагонизм, имеющий многовековую историю, в сущности, носит территориальный, хотя и тщательно скрываемый обеими сторонами, характер.

Даже поверхностный обзор исторических обстоятельств, связанных с территориально-государственной принадлежностью Трансильвании, свидетельствует, что национальное сознание румынского и венгерского народов формировалось в условиях взаимной предубежденности, недоверия и подозрительности друг к другу. К этому фактору добавились просчеты, непоследовательность, уступки национализму в политике уже «народно-демократических» Венгрии и Румынии. Последующее формирование румынского особого курса, существеннейшей, если не основной, характеристикой которого являлся национализм, не могло не отразиться отрицательным образом на румыно-венгерских отношениях. Осуществлявшаяся в Румынии линия на «улучшение патриотического воспитания трудящихся», достижение на этой основе «национальной консолидации» сопровождалась насильственной ассимиляцией венгерского населения, ущемлением его гражданских прав.

Причина стабильного румыно-венгерского конфликта лежит, видимо, глубже взаимного нежелания обеих сторон решить затянувшийся спор. Представляется, что разные экономические возможности этих стран, степень их продвинутости по пути демократических преобразований общества не позволяют им действовать в унисон, порождают ситуацию, когда для более быстрого удовлетворения требований национальных меньшинств им надо дать определенные привилегии, для которых, в свою очередь, нужны материальные средства. Выделение последних поставило бы в неравноправное положение большинство населения. А главное — средств попросту нет.

В Венгрии не получают поддержки намерения румынского руководства решать межнациональные проблемы в контексте общего процесса демократизации в стране. В Будапеште считают, что развитие демократии в Румынии зависит, в первую очередь, от удовлетворения требований ее венгерского населения, включая предоставление ему автономии. Однако ее форма и содержание пока очерчены недостаточно четко. Широкие слои населения в Румынии, в значительной степени сохраняющие националистическую инерцию мышления, с подозрением относятся к подобным требованиям. Они разделяют взгляды организаций вроде «Ватра ромынякэ» о том, что призыв к автономии становится злоупотреблением, когда под маской децентрализации преследуется цель раздробить силы нации, когда очевидно отсутствие лояльности по отношению к государству.

Разные подходы к решению сложных проблем не позволяют надеяться на скорую нормализацию румыно-венгерских отношений, которые на фоне кардинальных перемен и нарастания неустойчивости в Европе выдвигаются на все более заметное место в международной политике в качестве одного из дестабилизирующих факторов, существенного элемента, воздействующего на общеевропейский процесс в геополитическом и конкретно-практическом смысле.

В первую очередь, это касается советско-румынских отношений, поскольку «трансильванская проблема» как исторически, так и ныне переплетена с вопросом о Бессарабии, а также Северной Буковине, и румынская сторона трактует их в главном сопряженно. На протяжении последней четверти века в Румынии расширялась и углублялась как в историографии, так и в пропаганде и политике разработка националистических тезисов относительно указанных территорий. Эта работа была направлена на обоснование, сначала в завуалированном, а затем все более обнаженном виде, исторических прав Румынии на Бессарабию и всю Буковину, т. е., по сути дела, территориальных претензий к Советскому Союзу. Пополнения Румынии в отношении молдаван и соответствующих советских территорий являлись составным элементом особого курса ее прежнего руководства и одновременно одним из рычагов его реализации.

Молдова, возродившая в составе советской федерации собственную государственность и добившаяся немалых достижений в общественных преобразованиях, вместе с тем, как и все союзные республики, в полной мере испытала на себе воздействие административно-командной системы. С раскрепощением общественных отношений в республике начался бурный рост национального самосознания. Националистические силы пытаются спровоцировать сепаратистские настроения в пользу последующего объединения Молдовы с Румынией. Однако результатом таких усилий стало резкое противодействие немолдавского населения республики актам, направленным на упрочение суверенитета Молдовы вне рамок Союза. Раскол республики завязал новый узел противоречий. Представители крайних националистических сил по обе стороны Прута ставят точки над «i», призывая к воссозданию «Великой Румынии». Что касается серьезных румынских политиков, то в вопросе о Бессарабии и Северной Буковине они исходят из того, что он сложился исторически и должен решаться также в исторической перспективе. Нынешнее руководство страны выступает против изменения существующего территориального status quo, считая, что шаги в этом направлении не отвечали бы сегодняшним интересам Румынии и были бы опасны для нее и для стабильности в Европе, поскольку в качестве первого же действия вызвали бы постановку Венгрией вопроса о Трансильвании.

Таким образом, межнациональные противоречия в Румынии имеют сегодня отчетливо просматриваемый территориальный подтекст. Претензии, например, Венгрии относительно обеспечения коллективных прав трансильванских венгров не только в Бухаресте воспринимаются как чрезмерные, далеко идущие и ущемляющие суверенитет страны, но не получили поддержки и на Копенгагенской конференции участников СБСЕ по человеческому измерению, поскольку их принятие открыло бы возможность сначала поставить вопрос о предоставлении автономии, затем — о самоопределении национального меньшинства и в конечном итоге — сформулировать требование о его выходе из состава соответствующего государства.

Однако, спекулируя на гуманных аспектах проблемы, в Венгрии, по сути дела, пришли к консенсусу в этом вопросе между основными политическими силами и слоями общества; в известном смысле, он интернационализирован и занял видное место в международной политике. Высокая динамичность этого процесса, прямолинейная постановка перед румынской стороной вопросов, решение которых с точки зрения международного права относится исключительно к ее компетенции, открытая критика существующих границ в Европе (прежде всего, конечно, между Венгрией и Румынией) как несправедливых и раздающихся призывы подготовиться к их возможному изменению в будущем не могут не вызвать настороженности в отношении истинных намерений Будапешта. Думается, есть достаточные основания полагать, что действительные цели нынешнего руководства Венгрии лежат за пределами улучшения положения венгерского населения Румынии. Как представляется, они кроются в камуфлируемых до поры до времени поползновениях территориального характера.

Возведения «общеевропейского дома» при активном участии Венгрии и Румынии является, видимо, наиболее перспективным средством преодоления нынешнего межнационального противостояния этих стран. Первоначальным конкретным шагом в этом направлении могло бы стать региональное сотрудничество, которое, помимо иных экономических и политических выгод для его участников, могло бы служить тормозом обострения двусторонних отношений. Весьма желательна была бы причастность СССР в той или иной форме к такому сотрудничеству.

ШИШЕЛИНА Л. Н., канд. ист. наук, науч. сотрудник ИМЭПИ

Несколько дополнительных соображений об обстановке на стыке балканского и центральноевропейского регионов. Здесь ситуация в целом менее напряженная, чем на самих Балканах, хотя румыно-венгерский конфликт из-за Трансильвании весьма взрывоопасен. Не способствуют стабилизации обстановки в центральноевропейском регионе и споры вокруг проблемы прав венгерского меньшинства в Чехословакии. О чем они? В основном претензии официального Будапешта сводились к вопросу об использовании национального языка венгерским меньшинством: в дошкольном воспитании, для получения образования и т. п. Так, по свидетельству венгерской прессы, в 70-е годы в ходе изменения административного деления в Словакии исчезло примерно 230 венгерских сельских школ. Сейчас эти вопросы обсуждаются на межправительственном уровне, есть основания надеяться, что они будут решены ко взаимному удовлетворению. Вместе с тем в венгерской печати встречаются упоминания о росте национализма в Словакии после провозглашения суверенитета республики, что может отразиться на судьбе здесь венгерского меньшинства.

Несколько слов о месте национальной проблемы в отношениях Венгрии с Югославией. Тут также немало трений и противоречий в связи с проблемой обучения венгров на родном языке, образованием венгерских партий в республиках Югославии. Однако традиционно доброжелательные официальные отношения между Венгрией и Югославией позволяли конструктивно решать многие проблемы, связанные с наличием венгерского меньшинства в республиках Югославии.

НОВОПАШИН Ю. С. Давайте подводить итоги нашего «круглого стола». Оценивая ситуацию в ЦЮВЕ в целом, мы, видимо, все согласны с тем, что достижение здесь международно-политической и национально-территориальной стабильности будет связано с углублением и расширением общерегионального сотрудничества всех государств, включая и соседние территории Советского Союза, на которых проживают национальные меньшинства из восточноевропейских стран. Нужен целенаправленный и мудро управляемый процесс «регионального сближения». Он возможен на базе демократизации общественной жизни, которая сейчас идет практически во всех государствах региона. Конечно, потребуются соответствующая идеология, правовые регуляторы, политические и социально-экономические механизмы «регионализации» международных отношений в ЦЮВЕ, включая и западные районы Советского Союза. Предстоит большая, кропотливая, во многих аспектах весьма деликатная совместная работа, но другого пути нет.

МУРАДЯН А. А. Проведенный анализ позволяет констатировать, что в международном положении ЦЮВЕ как бы сталкиваются два влиятельных идейно-политических течения, характерных для европейского развития в условиях современности. Одно из них — национализм, рожденный эпохой индустриального и даже доиндустриального развития. Это как бы поток из прошлого. Другое — интернационализм, т. е. идеология и политика, продиктованная императивами постиндустриального развития человечества. Пользуясь метафорой, назовем его «волной будущего». При столкновении двух этих потоков событий образуются «воронки» и «буруны» политических коллизий и противоречий, внутрисударственных и международных конфликтов.

Сторонники идеологии национализма на Западе (под именем «новый национализм») надеются использовать эту концепцию для обеспечения, в сущности, чуждых ей процессов интернационализации производства и всей общественной жизни в региональных и глобальном масштабах.

Шансов на успех у этой идеологии немного. Все бóльшую популярность приобретает ее соперница — концепция либерального интернационализма, которая подчеркивает особую роль в мировых делах «либеральных демократий», методов многостороннего сотрудничества и создания эффективных международных организаций.

Идеи либерального интернационализма родились не сегодня, у них длительная традиция. Мы обнаруживаем выразительные следы этих идей уже в конце XIX — начале XX в., когда стали популяризироваться концепции и теории о «преимуществах разумного сотрудничества» стран и народов во всех областях человеческой деятельности, о «растущем осознании взаимозависимости всех частей человеческой расы», о том, что «национальная независимость» уступает свое место «превосходству интернациональной взаимозависимости». Однако в то время эта идеология столкнулась с контртенденцией обострения военно-политического противоборства именно в среде наиболее «цивилизованных» государств.

Нынешняя версия либерального интернационализма имеет возможность опереться на глубинные социально-экономические тенденции к интеграции и взаимозависимости в зоне развитого капитализма. Современный западный либеральный интернационализм — не простое воспроизведение традиции, его отличают прагматизм и реалистичность. Это попытка соединить прежний, преимущественно идеологический, нравственно-этический подход с «силовым» и «институциональным» началом. Так, американский профессор Р. Гарднер поясняет, что «либеральный интернационализм всегда основывается на реализме, а также идеализме, на политике равновесия сил, так же как и на политике мирового порядка». Упоминание принципа «равновесия сил», как одного из оснований доктрины либерального интернационализма, весьма красноречивое свидетельство сказанного. Главное то, что на Западе интенсивно разрабатывается идеология интернационализма, опирающаяся на социально-экономическую и внешнеполитическую практику. Мы же в этой области отстаем.

АБЛАЗОВА Л. С. Небольшая иллюстрация к сказанному об идеологии и практике либерального интернационализма на примере Югославии. Западная Европа и Запад в целом негативно отреагировали на республиканский сепаратизм, на попытки развалить югославскую федерацию. Европейское сообщество твердо высказалось против распада Югославии. Аналогичную позицию заняли крупнейшие западные финансовые корпорации, включая и Международный валютный фонд. В позиции Запада интернационалистский подход явно одерживает верх над националистическим. Интересы общеевропейской стабильности и сотрудничества в позиции западных государственных деятелей и идеологов берут верх над узким национализмом. И это весьма симптоматично.

ГЕРНЕР К., проф. ун-та г. Лунд (Швеция), член Исследовательского совета Швеции по гуманитарным проблемам

Я согласен, что есть влиятельные тенденции в общественном развитии восточноевропейского региона, которые сформируют его будущее. Среди них укажу на тенденцию ко все более полному обеспечению прав человека. Но она противоречива. Позвольте высказать несколько соображений по проблеме соотношения прав человека и права наций на самоопределение с точки зрения обеспечения региональной стабильности в ЦЮВЕ. Общеизвестно, что право нации на самоопределение может вступать в конфликт с правами отдельного человека, порождать межэтнические противоречия. Как избежать углубления конфликтов на этнической почве? Обязательной основой такого курса должен быть отказ от имперских амбиций, от обращения к средствам насилия. В целом, можно констатировать, что

процессы в ЦЮВЕ развиваются в этом направлении. Идут демократические процессы в Советском Союзе. В России обретает права гражданства идея, что интересы русских могут наилучшим образом быть обеспечены путем демонтажа империи и обеспечением прав человека для русских как национальных меньшинств во вновь образующихся суверенных государствах. Здесь добрую службу может сослужить венгерский опыт. Это пример того, как правящая нация в бывшем многонациональном государстве может научиться жить в иных условиях, когда во вновь образованных сопредельных государствах оказались значительные венгерские меньшинства.

Венгры сформулировали интересную и, на мой взгляд, перспективную концепцию «одухотворения (спиритуализации) границ». Но прежде несколько слов о венгерских меньшинствах в соседних странах и о венгерском национализме. Волна этнического национализма прокатилась в конце 80-х — начале 90-х годов и по Советскому Союзу и по странам ЦЮВЕ. В коммунистической ЦЮВЕ повсеместно этнический национализм приобретал возрастающее политическое значение по мере ухудшения дел с экономикой, экологией, ростом социальной напряженности. Коммунистические режимы пытались найти спасение в «патриотизме», чтобы получить политическую легитимацию. Оппозиционные силы также апеллировали к национальным чувствам. В некоторых случаях дремавшие до поры до времени проблемы национальных меньшинств резко обострились. Эти процессы коснулись и Венгрии. Венгерский национализм приобрел политическую окраску. Когда в Венгрии пришло к власти новое буржуазное правительство, в Будапеште на улицах открыто продавалась карта Великой Венгрии в границах до Трианонского договора 1920 г. Премьер-министр Й. Анталл и министр иностранных дел Г. Есенски заявили, что их беспокоит судьба венгров в соседних государствах. Кстати, напомним, что в Румынии проживают около 2 млн венгров, в Чехословакии — около 600 тыс., в автономной области Воеводина в Сербии — 400 тыс. По Трианонскому договору Венгрия потеряла две трети своей прежней территории; одна треть этнических венгров оказалась за пределами новых границ Венгерского государства в качестве национального меньшинства. Вторая мировая война, в сущности, ничего не изменила в этом отношении. Беспокойство о судьбе венгров в соседних странах в иных международно-политических условиях могло бы повести к подлинному ирредентизму, т. е. к требованиям пересмотра границ. Однако в атмосфере разрядки между Востоком и Западом венгерский ирредентизм практически отброшен. Политика сейчас сводится к требованиям свободных контактов через границы Венгрии и гарантий гражданских и человеческих прав для венгерских меньшинств. Это очень существенный момент для характеристики современного венгерского национализма. И еще одно важное обстоятельство: глубокий кризис венгерской экономики в конце концов потребовал принятия программы реформ, которая повела к интеграции страны с Западом. Таким образом, для Венгрии понизилось значение государственных границ в психологическом плане. Мы могли бы назвать такой подход «мягким» ирредентизмом. На мой взгляд, эта позиция заслуживает тщательного изучения, ибо может оказаться весьма перспективной и конструктивной для России и русского населения в Советском Союзе в целом.

НОВОПАШИН Ю. С. Мне думается, мы не исчерпали сегодняшнюю тему. По существу, многие вопросы были лишь поставлены. Так, концепция «проницаемости» границ может оказаться очень полезной в решении проблем «межнационального пограничья» и в ЦЮВЕ и в Советском Союзе. Поэтому было бы целесообразно продолжить наш «круглый стол».



«ДЕЛО ТУХАЧЕВСКОГО»: ВЕЛИКА ЛИ ЗАСЛУГА СД? (по поводу новой книги немецкого историка)

Во все времена люди проявляли повышенный интерес к тайнам. Особенно к тем, которые окутывают деятельность видных политиков, дипломатов, военных, т. е. лиц, так или иначе корректирующих ход истории. По моему мнению, за 70 с лишним лет существования Советского государства таких тайн набралось столько, что для иных стран с их многовековой историей — это, к счастью, просто «недостижимый рубеж». Покров над одной из таких тайн, страшной и кровавой, чуть было не привелшей Советский Союз к гибели в противоборстве с нацизмом, приподнимает в своей книге д-р Рудольф Штрёбингер, журналист и историк [1].

Работа написана как бы в двух жанрах — исследовательском и журналистском, причем именно первый из них держит читателя в наибольшем напряжении. Автор сопоставляет различные версии, бытующие в мемуарной и исторической литературе, перепроверяет их достоверность на основе документов, почерпнутых из архивов ФРГ, Великобритании и Чехословакии, буквально по крупицам выстраивает свою версию. Версию? Да, ибо до тех пор, пока для широкого круга исследователей будут закрыты советские ведомственные архивы, можно вести речь лишь о версии. К тому же журналистская манера письма лишила книгу научного аппарата, что порой весьма затрудняет оценку тех или иных приводимых в ней фактов.

Штрёбингер скрупулезно анализирует буквально каждый шаг шефа СД Гейдриха и его сотрудников по подготовке и проведению операции, целью которой являлась компрометация Маршала Советского Союза, первого заместителя наркома обороны М. Н. Тухачевского. Не менее детально прослеживает автор и действия президента Чехословакии Э. Бенеша и подведомственных ему дипломатических и разведывательных служб. Содержащийся здесь новый материал имеет большое значение, особенно тот, что касается роли военной разведки Чехословакии в экспертной оценке сфабрикованных в СД документов, полученных Бенешем, так называемой «красной папки». В книге содержатся и важные свидетельства о конкретных шагах НКВД, однако, степень достоверности их не совсем ясна (мемуары В. Кривицкого, А. Орлова и т. п.). Штрёбингер приходит к важному выводу, который, на мой взгляд, не вызывает сомнений: «Не было никакого заговора! ...Михаил Николаевич Тухачевский и семеро его товарищей умерли не потому, что были предателями и заговорщиками. Они умерли потому, что стояли на пути Иосифа Виссарионовича Сталина» [1, S. 308].

¹ Случ Сергей Зиновьевич — старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Значительно сложнее дело обстоит со Сталиным, точнее с мотивацией его поведения в этом «деле». Успешно проведя в августе 1936 г. первый крупный процесс над видными деятелями большевистской партии, что фактически предreshало судьбу десятков тысяч партийных функционеров как дореволюционной, так и послереволюционной генерации, Сталин в ходе дальнейшего укрепления своей единоличной власти обращает свои взоры к той части государственной машины, которая отличалась от других тем, что являлась носителем вооруженной мощи. Менталитет диктатора, чья политика прежде всего ориентирована на сохранение и упрочение своего господства, всегда двойственен по отношению к вооруженным силам. С одной стороны, армия — одна из важнейших опор диктатуры, с другой — потенциальная или гипотетическая угроза ее существованию. Закономерно возникнув в уме Сталина, эта «угроза» вместе с тем могла иметь вполне конкретную мотивацию.

В середине 30-х годов во главе советских вооруженных сил в большинстве своем находились люди, имевшие за спиной опыт гражданской, а нередко и первой мировой войн, выросшие в профессиональном отношении и в мирное время (некоторые из них даже учились в военной академии в Германии), т. е. о многих из них вполне можно говорить как о профессионалах европейского уровня. Все это создавало определенный зазор в классическом механизме тоталитарного господства: беспрепятственно манипулировать таким высшим командным составом, превратить его в простую марионетку в руках диктатора было затруднительно. В возникшей ситуации теоретически возможны два решения: либо признание за вооруженными силами права на соучастие в выработке политики, либо элиминирование этой генерации командного состава, т. е. ее физическое уничтожение. Сталин избрал последний вариант, что было совершенно иррационально со многих точек зрения, в том числе даже с позиции самосохранения самого тоталитарного режима, существование которого было поставлено под угрозу уже самим фактом беспрецедентного ослабления вооруженных сил в преддверии надвигавшейся войны. Но, вероятно, в этом и заключается одна из специфических сторон диктаторской власти, для которой сиюминутные соображения имеют абсолютную ценность.

Кстати, Тухачевский, умный, способный и талантливый военачальник, был одним из важных элементов тоталитарного режима ультралевого толка и объективно немало способствовал его укреплению. И здесь я не могу не упрекнуть автора за явную идеализацию образа этого человека, в биографии которого были и такие, отнюдь не героические эпизоды, как расправа с крестьянами Тамбовской губернии, выступившими против большевистской диктатуры, жестокое подавление мятежа инакомыслящих матросов в Кронштадте, резкая критика с классовых позиций идей крупного военного теоретика генерала А. Свечина, результатом чего был арест последнего. Весьма впечатляющим был и вклад Тухачевского в милитаризацию экономики страны. Его предложения в конце 20-х годов о перевооружении Красной Армии в условиях делавшей лишь первые робкие шаги индустриализации, неизбежно вели к приоритетному, крайне одностороннему развитию военных отраслей промышленности. Первоначально они были отвергнуты даже Сталиным, который резюмировал по поводу одной из записок Тухачевского (от 11 января 1930 г.), что принятие предлагаемой программы повело бы к ликвидации социалистического строительства и к замене его системой «красного милитаризма».

Правда, в послужном списке Тухачевского был один серьезный «прокол» — Варшавская операция 1920 г. Но ретроспективно, я думаю, есть немалый резон переосмыслить историческое значение этого поражения Красной Армии. Объективно это было великое благо для всей Европы. Трудно даже представить себе, как выглядела бы последующая история

континента и сколько миллионов жертв было бы принесено дополнительно на ее алтарь, если бы красное знамя взвилось еще и над Варшавой.

Закономерно возникает вопрос: почему же столь преданному коммунистическому режиму и заслуженному человеку, как Тухачевский, была уготована такая трагическая участь? Штрёбингер акцентирует внимание на личной неприязни Сталина к будущему маршалу еще со времени гражданской войны, указывает на разносторонность и яркость Тухачевского, черты характера, образ жизни и способности которого якобы сильно раздражали вождя [1, S. 301—302]. Вполне допускаю, что все это могло сыграть определенную роль, но, по моему мнению, далеко не первостепенную. Штрёбингер, например, пишет: «Начавшийся в 1931 г. почти метеорный взлет Тухачевского в Красной Армии, его успехи в модернизации последней, его международное признание как военного теоретика мирового уровня глубоко задевали честолюбие Сталина» [1, S. 302]. Подобный вывод может создать впечатление, что Сталин и Тухачевский существовали как бы в разных измерениях, а не в рамках одного режима, в котором один из них был диктатором. Ведь именно Сталин санкционировал назначение Тухачевского на пост замнаркома обороны и ввел его кандидатом в члены ЦК коммунистической партии; и именно Сталин определил тех пятерых военачальников, в том числе и Тухачевского, которым первым в 1935 г. было присвоено высшее воинское звание — Маршал Советского Союза. Да, и как, собственно, могло быть иначе в условиях режима, развивавшегося по пути тоталитаризма?

И здесь я подхожу к вопросу, который Штрёбингер, по существу, оставил без четкого ответа: какую же роль сыграла «красная папка» Гейдриха в судьбе маршала Тухачевского и многих других советских военачальников? Правда, надо отметить, что сам материал, содержащийся в книге, может подвести читателя к соответствующим выводам, но не более. К тому же иногда создается весьма противоречивое впечатление на этот счет, когда Штрёбингер, например, без всяких комментариев констатирует: «Сталин уведомил Политбюро, что о заговоре Тухачевского он был предупрежден и информирован Президентом Чехословакии Бенешем» [1, S. 262]. Подобного рода констатации способны создать впечатление о поистине роковой роли «красной папки» и высокопоставленного «посредника» при ее передаче в Кремль — Бенеша — в «деле Тухачевского».

Опираясь на недавно опубликованные в СССР новые документы и материалы, хочу выделить два наиболее важных момента в связи с поставленным вопросом. Во-первых, в архиве Сталина обнаружены документы, подтверждающие стремление германских разведывательных кругов довести до него дезинформационные сведения о Тухачевском. Во-вторых, «...ни в следственном деле, ни в материалах судебного процесса дезинформационные сведения зарубежных разведок о М. Н. Тухачевском и других военных деятелях не фигурируют. Свидетельств о том, что они сыграли какую-либо роль в организации „дела военных“ не обнаружено» [2].

Означает ли эта недавно введенная в научный оборот информация, что в «деле Тухачевского» не осталось больше «белых пятен»? Разумеется, нет. Но главное, как мне представляется, прояснилось. Уничтожение Тухачевского и тысяч других представителей командного состава Красной Армии во второй половине 30-х — начале 40-х годов не было заслугой службы безопасности «третьего рейха», хотя она вполне добросовестно выполнила свою часть работы, о чем столь увлекательно, как, впрочем, и о многом другом, рассказал в своей книге Р. Штрёбингер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ströbinger R.* Stalin euthauptet die Rote Armee: der Fall Tuchatschevskij. — Stuttgart, 1990, 320 S.
2. Дело о так называемой «антисоветской троцкистской военной организации» в Красной Армии. — Известия ЦК КПСС, 1989, № 4, с. 61.



ШЕРЕМЕТ В. И.

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ КРИЗИСА ФЕОДАЛЬНО-ИМПЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(экономика и политика в эпоху Восточного кризиса
1870-х годов)

Новый этап обострения Восточного вопроса последовал непосредственно за очередным экономическим кризисом, разразившимся в 1873 г. Была достигнута высшая, предельная ступень развития свободной конкуренции [1]. В этих условиях менялись содержание и характер проявления Восточного вопроса. Западноевропейские державы, выказывавшие наибольшую заинтересованность на предшествующих этапах Восточного вопроса — Англия, Франция, Австро-Венгрия, Пруссия, а также Россия (с определенной спецификой), к 1870-м годам обрели экономическую мощь, необходимую для очередного раунда колониальных боев; нарастала потребность в новых рынках и источниках сырья для тех картелей в Западной Европе, развитие которых совпало с очередной фазой Восточного вопроса.

За четверть века (с начала 1850-х годов, когда очередной восточный кризис перерос в Крымскую войну) Османская империя также претерпела значительные сдвиги в своем развитии.

Начало второго этапа реформаторского движения (танзимата) объективно пришлось на период завершения промышленного переворота в Европе. Мир фактически превратился в две неравнозначные по социально-экономическому и политическому влиянию части. В одной оказались Англия, Франция, другие капиталистические государства. В другой — докапиталистические, колониальные и зависимые страны, в том числе Османская империя с ее балканскими владениями, в которых шли мощные процессы национально-буржуазного освободительного движения.

Османская империя в основе своей имела богатые потенциальные возможности для социально-экономического развития. К 70-м годам XIX в. более чем на 3,4 млн квадратных километров ее территории проживали более 30 млн человек. Немусульманское население Европейской Турции (около 372 квадратных километров) составляло 5,8 млн человек [2].

Пестрота этно-конфессионального состава населения Османской империи в последней трети XIX в. усилилась и дополнительно осложняла Восточный вопрос. После Крымской войны в империи в целом было об-

Шеремет Виталий Иванович — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

разовано 27 вилайетов. При организации новых вилайетов в европейской части империи мало учитывалась этническая структура населения. Их создание и функционирование, многочисленные произвольные изменения границ отвечали интересам турецкой административной службы, нередко личным интересам правителей-пашей, но отнюдь не потребностям складывавшихся на Балканах наций. Более того, в произвольном подходе Высокой Порты к административно-территориальному делению Европейской Турции были заложены глеющие углы ряда вооруженных конфликтов, ослабившие единство балканских народов перед лицом турецких угнетателей и европейских держав в 1875—1879 гг.

Территориально-административные эксперименты турецких властей на Балканах были одним из проявлений общей централизации административно-бюрократической османской системы эпохи танзимата. Внешне эта тенденция выглядела как проведение в жизнь хатт- и хумаюна (декрета о реформах) 1856 г., открывшего второй этап танзимата. Однако европеизация высшего административного звена, приближение к европейским образцам провинциальных органов управления, в том числе на Балканах, расширение компетенции светских судов в противовес шариатским носили более отвлеченный от нужд страны характер, чем постановления Гюльханейского хатт- и шерифа 1839 г., открывшего первый этап танзимата [3, с. 80].

Параллельно с европеизацией ряда социально-политических институтов разворачивалась иная тенденция — декларативного утверждения абсолютного султанского суверенитета над немусульманскими подданными. Статус немусульманских миллетов (общин), умножившихся в середине XIX в. под давлением западноевропейских держав, которые стремились превратить миллеты в очаги своего влияния, был пересмотрен к началу 1870-х годов в сторону усечения самоуправления и снижения степени их влияния на принятие решений органами турецкой власти. По сравнению с предшествующим периодом усилилось вмешательство властей (на уровне гражданского и военного управления вилайетов) в вопросы хозяйственной и религиозно-культурной жизни миллетов, включая перевод священнослужителей на определяемое Портой жалование [4; 5]. Подобные ограничения, проводившиеся к тому же под лозунгом укрепления османского единства и принудительного стирания этно-религиозных различий, не достигали целей — укрепления централизаторских начал. Они только усиливали сопротивление немусульманских низов, которые в реальной жизни сталкивались не с широковещательными призывами к единству всех подданных, якобы равно защищаемых османским законом, а с репрессивной практикой по типу янычарских времен. При этом абсолютистские централизаторские поползновения Стамбула вызывали беспокойство европейских держав, опасавшихся утратить столь важный канал влияния, каким были для них христианские миллеты [6]. Так, меморандум русского правительства (апрель 1867 г.) Высокой Порте с предложением привести административно-территориальное деление в соответствие с национальными признаками и предоставить новым территориальным единицам ограниченную автономию встретил остро отрицательную реакцию турецкого правительства и внес замешательство в дипломатические круги в Константинополе [7; 8].

Ограничительная политика Высокой Порты в этно-конфессиональном вопросе и нестабильность балканской политики европейских держав объективно вносили напряжение в нараставший кризис. При этом все больше усложнялись отношения турецкого правительства с его балканскими подданными.

Первое поражение в кризисные 70-е годы XIX в. Высокая Порта потерпела в марте 1870 г., признав создание болгарского экзархата. Не уда-

лась попытка Порты в сентябре 1871 г. создать дополнительную разобщенность путем созыва в Стамбуле под эгидой турецких властей чрезвычайного собора (в рамках Константинопольского патриархата), чтобы признать болгар схизматиками, бунтовщиками против султана [9, р. 114—117; 10]. Болгарский экархат стал своеобразным новым звеном османской политической структуры на болгарской земле, причем более значительным, чем миллеты, так как лишь формально нуждался в утверждении Портой и реально учитывал национально-религиозные традиции, охватывая этнически компактную массу болгарского населения.

После первой победы сил национально-буржуазного возрождения в Болгарии (появление экархата) напряженные отношения между другими миллетами и Портой обострились. Неадекватным ответом Высокой Порты на рост национально-религиозного обособления балканских народов стал указ 1878 г. Впервые за 500 лет угнетения отношения миллетов с центром власти стали осуществляться не через реиса-эфенди¹ и Особую кашцеларию ведомства иностранных дел, а через турецкого министра юстиции, т. е. наравне с делами и вопросами обеспечения личных прав и свобод, гарантий имущества всех подданных [9, р. 131—132]. Заметим, что указ 1878 г. был принят в условиях крайнего обострения Восточного вопроса и может рассматриваться как последняя попытка турецкого центра власти выйти из кризиса отношений с христианскими подданными методами капитуляционного режима, в который была вписана система миллетов на Балканах.

Перед лицом «европейского сообщества», членом которого Высокая Порта полагала себя с 1856 г., она была вынуждена считаться как со своими собственными указами о равенстве подданных, так и с несомненным опытом, высокой общей культурой, деловыми связями общемирового размаха представителей немусульманских миллетов. Так, накануне и в период Восточного кризиса 1870-х годов греки-фанариоты и армяне входили в Высший Совет юстиции, в Государственный Совет, в комитет по выработке Конституции 1876 г. Грек Костаки Мусурус-паша был послом в Лондоне в разгар кризиса; в 1878—1879 гг. турецкий МИД возглавлял грек Александр Каратеодори-паша. Как правило, все они деятельно защищали интересы Порты. Бюрократический аппарат Османский империи был действительно многонациональным. Не представляя интересы складывавшихся буржуазных наций в тесных рамках позднефеодальной Османской империи, он тем не менее объективно послужил своеобразной школой кадров для нетурецкого управленческого аппарата.

Иначе обстояло дело с армией. В начале 1870-х годов все еще дискутировался вопрос о привлечении в нее христиан, поставленный европейскими представителями в Константинополе перед Крымской войной. Однако всем проектам привлечения христиан в армию было предпочтен набор мусульман-нетурок (арабов, курдов), а также денежный налог, заменивший пресловутый харадж для немусульман, но столь же унижавший христиан и ставивший их в положение подданных второго сорта. В 1876 г. по личному указанию Абдул Хамида II христианам было отказано в приеме в военные учебные заведения. В результате, получив независимость или автономию, бывшие подвластные Турции территории на Балканах тотчас начинали уделять много средств и внимания созданию национальных армий, появлялась и остро дискутировалась масса проектов территориальных переделов, что осложняло отношения между освобожденными от власти османского центра государствами, накаляло

¹ В ведении реиса-эфенди, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство, находились и вопросы управления немусульманским населением империи. С 1834 г. был введен пост министра иностранных дел.

обстановку на Балканах в целом. Эти обстоятельства, не будучи в числе главных, тем не менее негативно сказались в периоды новых обострений Восточного вопроса в конце XIX в. и особенно в начале XX в. Османский центр власти, теряя привычные рычаги воздействия на обстановку в регионе, играл на территориальных и военно-властных амбициях некоторых лидеров бывших подданных.

В 1870-х годах нагнетанию конфликтных отношений между Высокой Портой и находившимися в формальной зависимости от нее Сербией и Румынией послужили, в частности, планы Порты (1872) объединить армии трех стран под турецким командованием. Сербии и Румынии предполагалось дать некоторые территориальные и финансово-торговые компенсации, включая отмену действия капитуляций [11]. Территориальные приращения под эгидой Османской империи вдохновляли часть крупных торговцев и землевладельцев в Сербии, меньше — в Румынии. Планы Порты, однако, провалились, а дополнительные элементы конфликтности в отношениях между соседними государствами Балкан остались.

Фрагментарность социальной и этно-конфессиональной деятельности Высокой Порты в годы нарастания кризиса вела лишь к его обострению. Ситуация осложнилась тем, что политика турецкого центра власти на замещение рушившейся феодально-империльной системы своеобразной сервильной зоной на Балканах не нашла своевременной и решительной реакции у правительств и общественности возродившихся государств. Итогом же было качественное ухудшение, взрывчатость и нестабильность общей среды международных отношений в Юго-Восточной Европе в 90-х годах XIX — 10-х годах XX в.

Состояние экономической жизни Османской империи середины 1870-х годов отмечено затяжным кризисом. Причем кризисные проявления в турецком центре власти отмечены гораздо отчетливее, чем на имперской периферии. Хронический дефицит османского государственного бюджета покрывался за счет внешних займов, предназначавшихся в большой доле на военно-политические акции Порты в рамках политики лавирования между державами. Общая сумма займов к моменту объявления Высокой Портой банкротства в 1875 г. превысила, по данным турецких историков, 5 млрд франков [12, с. 54; 13]. Выплата процентов и амортизация государственного долга Османской империи в начале 1870-х годов достигала трети, а в разгар кризиса — половины всех государственных доходов. Держатели облигаций «османских займов» в Западной Европе утратили к ним интерес, в прессе звучали раздраженные призывы «заставить турок расплатиться». Крупные банковские дома, интересовавшиеся с 1829—1830 гг. размещением османских займов на льготных условиях, теперь отказывались иметь дело с несостоятельным должником, который должен был подтвердить свою былую военную потенцию в отношении бунтующих подданных. Нерациональное использование львиной доли внешних займов на нужды престижного потребления правящей османской элиты, злоупотребления центра и полная устранимость инациональной периферии от распределения средств по займам ускорили приближение краха в имперской финансовой системе, только внешне начавшей подстраиваться под европейские нормы.

6 октября 1875 г. Высокая Порта объявила об отсутствии в государственной казне средств для погашения внешнего и внутреннего долга. Менее чем через год в условиях общего подъема вооруженной борьбы балканских народов все выплаты державам-кредиторам были прекращены. Банкротство финансовое и политическое, к которому империя скатывалась начиная с первых военных займов периода обострения Восточного вопроса в 1854—1855 гг. у союзников по Крымской коалиции, завершилось в условиях очередной фазы обострения Восточного вопроса.

Следует учитывать, что военно-политические факторы определяли участие Высокой Порты в Крымской коалиции с Англией, Францией и Сардинией в период Восточного кризиса 1850-х годов. Займы тех лет должны были обеспечить соответствующий уровень участия Османской империи в военном союзе с державами Запада. В новых исторических обстоятельствах биржевой крах 1873 г. и мировой экономической кризис со всей силой обрушились на периферийную, остро зависимую от внешних условий (спрос на сырье, внешнее финансирование и т. д.) аграрную экономику Османской империи. Как в союзнике капиталистические державы в последней трети XIX в. в ней не нуждались. Внешней финансовой поддержки Высокая Порта получить не могла, объявив себя банкротом. Внутренние источники либо были исчерпаны (новые налоги приводили лишь к новым восстаниям), либо использовались также непроизводительно (на подавление освободительных движений, содержание ослепительного султанского двора, громоздкого бюрократического аппарата, модернизированной, но непомерно разбухшей армии и т. д.) Имперский оттоманский банк, созданный в 1863 г. и контролируемый английским, французским, а с 1875 г. и австрийским капиталом, обеспечивал лишь краткосрочные интересы ссудного капитала Западной Европы в Османской империи.

Незаинтересованность в придании турецкой кредитно-финансовой системе современного уровня и очевидная невозможность соединения формационно противоречивых элементов (кредитно-займовых отношений европейского капитализма и позднефеодальной османской политической системы, органически неспособной справиться с ростом освободительных движений и распадом имперских властных структур) во многом определили отношение к Османской империи как к невыгодному для инвестиций объекту и соответственно как к неполноправному партнеру при обсуждении круга проблем, входивших в Восточный вопрос конца XIX — начала XX в.

Во время обострения кризиса в 1876 г. европейские банки практически прекратили кредитование Порты. Только в канун войны 1877—1878 гг. кредит был открыт, но на крайне тяжелых условиях и сугубо целевого (как и в 1854—1855 гг.) назначения — для войны с Россией [14]. Так финансисты Лондона, Вены, Парижа, Берлина поддержали отказ политических кругов своих стран считать Османскую империю субъектом международной среды.

Видоизменяется в этих условиях и проводившаяся Западом в отношении Порты с начала XIX в. политика *status quo*. Она может рассматриваться как проявление одного из системных качеств межгосударственных отношений эпохи капитализма — предотвращение появления новых равноправных субъектов международной политики, поскольку искусственно сдерживалось национально-государственное возрождение балканских народов. Подобная концепция фактически консервировала социально-политическое отставание Балкан. Политика *status quo* получила свое наиболее полное развитие в эпоху промышленного переворота, однако, фактически исчерпала себя на стадии перехода к империализму, совпавшей с очередным обострением Восточного вопроса в 1870-х годах, когда ссудный, а затем и финансовый капитал западноевропейских держав широко внедрялся на Балканах, охваченных процессом активного формирования национальной государственности.

К этому времени экономические и политические позиции держав в зонах индивидуального или коллективного влияния (например, Австро-Венгрии в Сербии, Франции и Англии в Болгарии, Англии в Греции и на сопредельных греческих землях, подвластных Порте) обеспечивали с наибольшей полнотой непосредственное, а не через османский центр

власти воздействие на дальнейшее экономическое развитие освобождавшихся балканских стран. Премьер-министр Англии в период кризиса 1870-х годов, Б. Дизраэли, в литературных и политических сочинениях этого времени, поддерживая политику status quo, одновременно сформулировал цели и планы раздела Османской империи, включая Кипр и Малую Азию [15]. В министерстве колоний Великобритании в 1876 г. с гораздо большей последовательностью призывали к удалению «турецкого зуба, даже если он еще мог бы держаться на своем месте» [16; 17]. Поддержание status quo перестало приносить дивиденды, более того, стало слишком обременительным для держав Европы.

Османская империя задерживалась на зыбкой стадии зависимого развития. Кризис 1870-х годов подтолкнул ее в положение полуколонии. Решающее слово в этом сказал ссудный капитал. Одним из итогов политического кризиса и финансового банкротства Турции явилось создание Администрации Оттоманского публичного долга согласно так называемому Мухарремскому декрету от 20 декабря 1881 г. (28 мухаррема 1299 г. хиджры). Появился коллективный орган действенного финансово-политического контроля за экономическим развитием страны. Давление оказывалось не через ту или иную группу коррумпированных османских шаховников, а непосредственно на султана и исполнительные органы в интересах тех держав, которые могли разделить османское наследство. Однако окончательный физический распад Османской империи откладывался. Финансовый капитал укрепил свои позиции на Балканах и в Малой Азии гораздо прочнее, чем любимыми (как правило, эфемерными) соглашениями дипломатов.

Экономические формы контроля за подвластными султану территориями в капут и во время кризиса 1870-х годов оказывались более действенными, чем чисто дипломатические. Об этом свидетельствует реакция держав на правительственные мероприятия, связанные с землей и транспортом. Закон от 21 мая 1867 г. предоставил иностранцам то право на владение недвижимостью в Османской империи, которого европейские предприниматели и торговцы добивались со времени подготовки хатт-и шерифа 1839 г. Дополнительное льготным таможенным режимом (1861—1862), позволившим иностранным подданным свободно торговать на внутренних, в первую очередь балканских рынках империи, право владеть землей дало возможность европейскому капиталу контролировать сырьевые ресурсы всей империи, производству и сбыт сельскохозяйственной продукции. Однако земля как свободная капиталистическая собственность в феодальной Османской империи становилась, по данным современного турецкого исследователя, объектом не столько экономических, сколько политических спекуляций представителей европейских держав [18].

В начале 1870-х годов, особенно после экономического кризиса 1873 г., ускорилась распродажа земель турецких владельцев (чифтликчи) в Европейской Турции. Сказывалось действие ферманов о запрете барщинных обработок, закона о земле (1867), которую можно было выгодно продать, а также конкуренция наступавшего на европейские рынки дешевого хлеба из США. Цены на турецкий хлеб в Западной Европе упали в 1872—1874 гг. на 30—35%. В Европейской Турции быстро снижалась численность турецких землевладельцев — опоры османского центра власти. При этом росло количество мелких и средних участков, которые попадали в руки землевладельцев из местного населения [19]. В свою очередь, среди последних ускорялась социальная дифференциация. Борьба за окончательное изгнание турецких угнетателей переплеталась с нарастающей социальной борьбой. Нерешенность аграрного вопроса оказывала влияние на расстановку сил в сложившейся революционной ситуации на Балканах [20].

Неурожайные 1874 и 1875 гг. поставили население ряда районов Европейской Турции на грань голодной смерти. Сопrotивление турецким угнетателям на Балканах имело вид борьбы с четким образом социального врага — землевладельца, торговца, откупщика. Предметность национального и социального угнетения определила и более четкие требования повстанцев 1875 г. в Герцеговине и Боснии, чем на других этапах развития Восточного кризиса: замена ашара² поземельным налогом, полная отмена откупов и всех видов барщины и запрет произвола местных властей. Вскоре эти требования переросли в требование ликвидации турецкого господства.

В 70-х годах XIX в. особенно отчетливо проявилась негативная сущность турецкой феодально-помещичьей системы землевладения, при которой турок — сельский хозяин был озабочен лишь получением львиной доли урожая, собранного крестьянином-издольщиком, в балканских районах, как правило, — не турком. Турецкое государство, в свою очередь, грабило крестьян через ашар, принудительные низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию (закупочные цены на Балканах были в 2—3 раза ниже, чем в Западной Анатолии), откупную систему, не раз отменявшуюся, но вновь вводимую.

Общезвестно, что восставшие в 1870-е годы балканские провинции были охвачены борьбой как за свободу, так и за землю. Вместе с тем следует отметить, что обладание землей (а именно ее были лишены практически все немусульманские подданные султана — верховного собственника всей земли) определяло социальный статус подданного. Наряду с социально-престижными соображениями выкуп (или изъятие) у турецких владельцев земли, дорожавшей по мере включения Османской империи в мировой капиталистический рынок, представлял верный путь повышения социального статуса владельца.

Многовековое отделение балканских подданных Порты от земли, отсутствие на Балканах крупного товарного землевладения в переходный период от феодализма к капитализму, другие связанные с крестьянским мало- и безземельем проблемы во многом воздействовали на характер внутренней борьбы в период кризиса 1870-х годов и после него в получивших независимость балканских странах.

В последней трети XIX в. обострились транспортно-коммуникационные проблемы Османской империи. Несмотря на усилия правительства, к 70-м годам XIX в. страна утратила независимые позиции в области морского транспорта и каботаж. Пятнадцать иностранных пароходных линий осуществляли почти все грузо-пассажирские перевозки в прибрежных водах [22]. Высокая Порта пыталась компенсировать утрату позиций в этом самом выгодном виде транспорта вниманием к дорожному строительству и развитию железнодорожной сети. Однако все усилия свелись примерно к 2 тыс. км железных дорог, проложенных к концу 1870-х годов через балканские и малоазиатские земли, и незначительному улучшению сети грунтовых дорог в Европейской Турции [23; 24].

До 1870-х годов Османская империя получала с Запада системы машин и механизмов, которые могли при соблюдении правительственного контроля отвечать интересам развития внутриимперских коммуникаций — судоходства, железных дорог, телеграфа. Однако в первую очередь эти современные средства были поставлены на службу экспедиционным армиям в ходе Крымской войны, а к 1870-м годам почти полностью переключены на обслуживание экономических и военно-политических интересов западноевропейских держав на Балканах и в Западной Анатолии в кон-

² Особое значение ашара (средневековой налоговой системы) для казны в период второго этапа танзимата и его краха в начале 1870-х годов подчеркивают турецкие историки [21].

тексте трансасиатской связи европейских метрополий с колониями в Азии и Африке.

Возросший в 1870-х годах интерес европейских капиталистов к железнодорожному строительству в Османской империи, достаточно давно отмеченный исследователями, должен быть объяснен с точки зрения нового этапа политики западных держав. Определенная отстраненность железнодорожного дела от национальных экономических условий давала возможность выйти за пределы контактных зон и быстро соединить их между собой, обходя тем самым запреты Порты на операции во внутренних районах Балкан или Анатолии. Развитие железнодорожного строительства в широтном направлении совпадало с направлением экспансии Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии от Балканского полуострова на Средний Восток. В 1870-х годах сохранялось значение османских земель на стыке Европы и Азии как важного коммуникационного плацдарма продвижения на Восток и в Африку.

Вместе с тем создание железнодорожных магистралей с соответствующими полосами отчуждения, службами движения и т. д. соответствовало перспективам раздела зон Османской империи между теми капиталистическими державами, которым принадлежали дороги. Характерно, что в правительственных кругах Австро-Венгрии железные дороги (например, линия через Боснию — Нови-Пазар к Салоникам) рассматривались не с точки зрения соединения, а наоборот, изоляции отдельных районов в интересах укрепления австрийского влияния, в данном случае — Сербии от Черногории. Фактически железные дороги становились частью инфраструктуры экономики колониального типа.

Аппарат управления, полностью состоявший из иностранцев, не связанных подданством, а также обслуживающий персонал, в подавляющем большинстве инонациональный и огражденный от турецких властей капитуляционными иммунитетам, дополнительно служили целям выведения определенной (и достаточно многочисленной) группы населения из-под юрисдикции турецкого правительства.

Железные дороги на территории Османской империи, кроме того, должны были быть использованы в момент падения турецкого правительства и решения вопроса, кому достанется основная часть турецкого наследства. Столкновение за таковое ввиду того, что «большой человек на Босфоре» отнюдь не спешил делать завещание в пользу какой-либо державы Запада, реализовалось серией военных тревог, и каждый раз транспортно-коммуникационные перспективы влияли на развитие Восточного вопроса.

Для самой Османской империи транспортная зависимость от европейских держав (равно как и развитие телеграфной связи) усугубляла общую зависимость (полностью в расширенном и в большой степени в простом воспроизводстве) от мирового рынка. В определенной мере закладывалась «придавленность» собственной инфраструктуры балканских стран и Турции, что особенно остро сказалось в новейшее время. Складывавшаяся инфраструктура Османской империи и освободившихся земель оказалась в полной зависимости от капиталистических держав уже в 1880-х годах.

Темпы ежегодного роста внешней торговли Османской империи в конце 1860-х — начале 1870-х годов достигали 5%, что втрое превышало этот показатель за 1840—1850-е годы. По общему объему товарооборота в 1875—1876 г. Османская империя обошла Китай, Японию и занимала десятое место в мире. Однако колониальный характер внешней торговли, наметившийся в эпоху Крымской войны, в 1870-х годах закрепился как по номенклатуре товаров, так и по их стоимостному выражению [25]. Данные, приводимые болгарским экономистом Л. Бервым и турецким историком О. Курмушем, свидетельствуют, что вслед за европейскими

территориями Турции, ранее втянутыми в мировые рыночные связи, в начале 1870-х годов в них включились и западноанатолийские районы. Начавшееся в эпоху промышленного капитализма выделение зон преимущественного влияния западных держав углубилось в годы Восточного кризиса, приобретя достаточно четкие очертания. Англия закрепилась в Западной Анатолии и Месопотамии, Франция — в Сирии, Палестине, Ливане. На Балканах также выделялись зоны влияния Австро-Венгрии, Германии, Англии и Франции. Зональность экономического влияния, развивавшаяся на базе прежних контактных зон европейского капитализма и османского феодализма, служила своеобразной экономической основой перспективного политического раздела Османской империи. Ее наиболее развитые балканские территории оказались в большей зависимости от той или иной западноевропейской державы, чем от имперского центра.

Конечно, деление Османской империи на зоны влияния было достаточно условным. Борьба за ее раздел еще только вступала в новую фазу, отличительной чертой которой была неравномерность развития самих стран-колонизаторов, их борьба за передел зон влияния в стране, быстро превращавшейся из государства зависимого развития в полуколонию.

Внешняя торговля Османской империи, в 1840-х годах подчиненная принципам свободной торговли, в 1870-х годах стала ареной ожесточенных столкновений между Высокой Портой и западными державами (а между последними — и за внутренние рынки империи).

Подлинным препятствием дальнейшего вовлечения освободившихся от османского гнета балканских земель в мировые рыночные связи служила унаследованная отсталость основных экономических и политических институтов. Преодолевать это отставание представители европейского капитала начали еще в 1840—1850-х годах созданием своеобразной «компраторской бюрократии». Раскрывая этот термин, употребляемый современной турецкой социологией, можно отметить, что каждая из держав, опираясь на определенные этно-конфессиональные группы, на лиц двойного гражданства, защищенных капитуляционными иммунитетам, создавала своеобразные «группы давления» на султана. В начале 1870-х годов в борьбу вступили «группы давления» на правительство Турции, ориентированные на Англию, Францию, Россию, Австро-Венгрию, Германию [26; 27].

Через торговые операции, а после 1867 г. и с помощью закона о праве иностранцев на владение недвижимостью европейские капиталисты формировали оптимальный для своих интересов, но крайне взрывоопасный для Порты тип социальной инфраструктуры. Участие этнических турок в торговле и промышленном производстве на Балканах периода кризиса 1870-х годов было незначительным [3, с. 88—91]. Основные виды крупной предпринимательской деятельности концентрировались в руках греков, армян, несколько меньше — болгар, других балканских подданных Порты. Обладая опытом, деловыми связями и капиталом, все они как юридические лица были до освобождения неполноправны и, следовательно, не могли в полной мере отвечать типу прямых, без контроля или посредничества турецкого центра власти экономических отношений, которые устраивали бы их капиталистических партнеров. Не будучи в состоянии подчинить своему влиянию все социально-экономические процессы в Османской империи, Запад действовал через укрепление позиции зависимой прослойки защищенных капитуляциями лиц из числа инонациональных, нетурецких торговцев в контактных зонах [28].

Однако в 1870-х годах централизаторские мероприятия Высокой Порты и, главное, сохранение системы феодальных отношений в области экономики и политики делали невозможной в условиях стремительного развития в Западной Европе процессов, характерных для империализма,

замедленную переориентацию торговцев — османских подданных на связи с мировым капиталистическим рынком. Отход от тапзиматских преобразований после 1876 г. был дополнительным аргументом для тех сил в торгово-финансовых кругах Запада, которые, отказываясь от сотрудничества с османским купечеством, выходили на прямую эксплуатацию производителей сырьевой продукции в зонах влияния, определившихся в середине века.

Прочность позиций и размеры деловой активности торговцев-интернационалов на балканских рынках оказывались, во-первых, в прямой зависимости от степени их капитуляционной защищенности, а проще — обособленности от центра власти и неувязимости для налоговых и иных, внеэкономических притязаний османских властей; во-вторых, были связаны с физическими объемами товарных операций и пролонгированностью деловых контактов с контрагентами в Европе. В результате существовала и даже закреплялась подчиненность компраторской бюрократии от европейца — «администратора» операций. С другой стороны, росли конкуренция и борьба немногочисленных, но опиравшихся на силу власти торговцев-турок с балканскими партнерами-соперниками за прямой выход на европейские рынки, за свою долю прибылей. После кризиса 1870-х годов и возрождения Болгарии ускорилось вовлечение во внешнеторговые операции с Западом и с балканскими странами этнических турок. В торговом деле росло турецкое предпринимательство буржуазного типа. Однако ни до, ни после кризиса собственно промышленная активность турецкой национальной буржуазии, по существу, не росла. Деятельность же компраторов интенсивно расширялась, причем в значительной мере за счет торговли Запад — Балканы — Средний Восток.

После 1879 г., т. е. окончания наиболее острой стадии Восточного кризиса, можно констатировать ускорившееся завершение перехода Османской империи из стадии зависимого развития на положение полукolonии, тогда как ее бывшие балканские владения ускоренными темпами пошли по капиталистическому пути развития. Турецкая эконоимка, по оценке турецких социологов, окончательно превратилась за два последующих десятилетия в систему, потребляющую промышленную продукцию и производящую сельскохозяйственную продукцию в объемах, определяемых потребностями мирового капиталистического рынка [12, с. 130—132; 29].

В свете изложенного представляется не вполне корректным суждение о Восточном кризисе 1875—1878 гг. как исходной причине общего кризиса Османской империи, показавшего «невозможность дальнейшего существования в ней военно-феодалных пережитков и сохранения ее власти над угнетенными балканскими народами» [30]. Внутренний дисбаланс в империи проявился еще до кризиса и приблизил его. Экономические и социально-политические структуры Османской империи взаимодействовали с капитализмом европейских держав на протяжении длительного периода. Определенные фазы перерастания мирового капитализма в империализм были очевидным внешним фактором развития балканских владений Османской империи. Вместе с тем переход от феодализма к капитализму, широко развернувшийся на Балканах, но остававшийся перспективной для анатолийских и большинства арабских территорий Османской империи, отчетливо выявил то обстоятельство, что империя в середине XIX в. не была готова к устойчивым связям с капитализмом на принципах хотя бы формального паритета. Только быстрое подчинение основных институтов политической и экономической жизни Османской империи Западу могло адекватно соответствовать новым требованиям эксплуатации османских владений в Европе и Азии со стороны растущего империализма.

Европа не могла ждать нового этапа реформ в Турции. Танзимат не оправдал себя в глазах западных держав — он не подготовил страну к внедрению в ней капитализма в той степени, в какой этого ожидали в Лондоне, Вене, Париже, Берлине.

Восточный кризис 1870-х годов в его социально-экономическом аспекте стал производным от ускоренного внедрения финансово-политических структур Запада в традиционные, позднефеодальные по типу общественно-политические и экономические институты Османской империи, с приостановкой реформ и утратой внутренних стимулов эволюции. Дальнейшее развитие современного товарного производства в наиболее развитых областях Османской империи (на Балканах) при сохранении турецкого господства, было невозможно, и это господство рухнуло почти повсеместно.

Деформация процессов воспроизводства в Османской империи на грани капитализма и империализма и колониальная экспансия западных держав вызвали к жизни «гибридные формы» в политической системе и базисной структуре, которые оказались нежизнеспособны и приняли на себя первый удар балканских буржуазно-национальных революций. Рождались новые государства, наследовавшие массу проблем от «османского наследия».

Преодолеть их оказалось неизмеримо сложнее, чем разрушить политические империальные структуры. Действительно, независимые государства, возрождавшиеся на восточноевропейских территориях Османской империи, демонстрировали способность вооруженным путем, получая помощь извне, бороться с бывшим центром власти. Однако сама идея «османского наследия» воспринималась однозначно — как сокрушение империальных политических институтов при полном забвении исторических условий складывания империальных структур, их этно-конфессиональных и социально-экономических составляющих. Подобная тенденция позволила бывшему турецкому центру власти более или менее удачно эксплуатировать в экономике и политике связи балканских государств с бывшим сувереном.

Проблемы разрешались в духе крайнего национализма. «Силовые приемы» в стиле былой метрополии закрепились во внутрибалканских и в более широких межрегиональных конфликтах на несколько десятилетий, что породило в последней трети XIX — начале XX в. серию региональных противоречий, в открытой или латентной форме вошедших в современность.

Консервативность внутренней политики возрождавшихся балканских государств, проявления национального эгоизма и экспансионизма при объективно необходимом разрушении имперского «османского наследия» разъединяли их как естественных союзников перед лицом перестроившегося в младотурецкий режим бывшего османского центра власти, ослабляли противодействие мощному давлению великих держав в канун первой мировой войны, как, впрочем, и позднее.

Исторический феномен «балканизации» в качестве единственной альтернативы османской империальной системе и как способ выражения государственно-политических интересов молодых стран Юго-Восточной Европы в период, когда преодоление туркоцентричной модели развития приобрело в начале XX в. для этих стран самодовлеющий характер, привнес массу неизжитых осложнений в систему международных отношений новейшей эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 27, с. 317.
2. *Karpat K. H.* Population Movements in the Ottoman State in the 19th Century: An Outline.— In: Contributions à l'histoire économique et social de l'Empire Ottoman. Paris, 1983. p. 412—413.
3. Международные отношения на Балканах, 1856—1878. М., 1986.
4. *Karal E. Z.* Osmanli tarihi. Cilt 7. Islahat fermani devri 1861—1876. Ankara, 1956, s. 68.
5. *Ников П.* Възраждане на българския народ. Църковнонационални борби и постижения. София, 1971, с. 140—142.
6. Nationalism in a Non-National State. The Dissolution of the Ottoman Empire. Ohio, 1977, p. 29.
7. Архив внешней политики России. Ф. Отчеты МИД. Отчет за 1867 г., л. 102.
8. *Testa I. de.* Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères. T. 7. Paris, 1892. p. 446—454.
9. *Davison R. H.* Reform in the Ottoman Empire 1856—1878. Princeton, 1963.
10. *Лилуашвили К. С.* Национально-освободительная борьба болгарского народа против фанариотского ига и России. Тбилиси, 1978, с. 58—62.
11. *Фадеева И. Л.* Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи. М., 1985, с. 110—111.
12. *Patuk Ş.* Osmanli ekonomisi ve dunya kapitalizmi. 1820—1913. Ankara, 1984.
13. *Yeniay Y. H.* Yeni osmanli borçlari tarihi. Istanbul, 1964, s. 51.
14. *Иванов С. М., Мейер М. С., Шеремет В. И., Купеес Н. Г.* Внешнеэкономические связи Османской империи. М., 1989, с. 101—102.
15. Life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. Vol. VI. New York, 1920, p. 103.
16. *Cecil G.* Life of Robert, Marquis of Salisbury. London, 1921, p. 79, 83—84.
17. *Виноградов В. Н.* Дизраэли, Гладстон и Шувалов в канун русско-турецкой войны 1877—1878 гг.— Новая и новейшая история, 1978, № 2.
18. *Kurtmuş O.* İngiliz imperyalizmin Türkiye'ye girişi. Istanbul, 1977, s. 117—118.
19. *Беров Л.* История экономического развития Болгарии. София, 1980, с. 65—69.
20. *Карасев В. Г.* Буржуазно-национальные революции балканских народов, Восточный кризис 70-х годов XIX в. и русско-турецкая война 1877—1878 гг.— В кн.: 100 лет освобождения балканских народов от османского ига. М., 1979, с. 167—187.
21. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi. Ankara, 1980, s. 274—276.
22. *Issawi Ch.* The Economic History of Turkey, 1800—1914. Chicago, 1980, p. 146.
23. *Yerasimos St.* Arğelişmişlik sürecinde Türkiye. Istanbul, 1971, s. 971.
24. Железные дороги Азиатской Турции. СПб., 1900, с. 25.
25. *Паскалева В. и др.* Немски извори за българската история 1875—1877. София, 1973, с. 192—194, 200—203.
26. *Avcioglu D.* Türkiye'nin düzeni (dün — bugün — yarin). Cilt 1. Ankara, 1968, s. 10—12.
27. *Fişek K.* Türkiye'de kapitalizmin gelişmesi ve işçi sınıfı. Ankara, 1969, s. 25—38.
28. *Шеремет В. И.* Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX в. М., 1986, с. 82—117.
29. *Eldem K.* Osmanli Imparatorluğunun iktisadî şartları bakından bir tetkik. Istanbul, 1970, s. 282—309.
30. «Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 1871—1918. М., 1977, с. 64.



ГИБИАНСКИЙ Л. Я

К ИСТОРИИ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКОГО КОНФЛИКТА 1948—1953 гг. СЕКРЕТНАЯ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВО- БОЛГАРСКАЯ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ 10 ФЕВРАЛЯ 1948 ГОДА¹

Итак, какова же была реакция болгарских и югославских участников встречи на тот разнос, который им был устроен в Кремле вечером 10 февраля 1948 г.?

Никто из них, как свидетельствуют все имеющиеся в нашем распоряжении источники, не только не протестовал, но и вообще не выказал никакого недовольства по поводу самого факта разноса, его грубой, проработочной формы. В этом смысле они встретили вылившуюся на них «начальственную критику» вполне в духе иерархических отношений, характерных тогда для международного коммунистического движения и складывавшегося «соцлагеря». Что же касалось существа того, что им инкриминировалось на встрече, то болгарские и югославские участники прежде всего старались отвести выдвинутое советской стороной обвинение в «серьезных разногласиях» между Югославией и Болгарией, с одной стороны, и СССР — с другой. Разногласиях, о которых В. М. Молотов в своем «вступительном слове» на заседании заявил, что они «недопустимы и с партийной, и с государственной точек зрения» [1, I-3-b/651, I. 33]. Как зафиксировано в отчете М. Джиласа, руководитель Болгарии заявил, что «в сущности нет различий между болгарской и советской внешней политикой», а глава югославской делегации — что «не видит крупных расхождений между Югославией и СССР во внешней политике» [1, I-3-b/651, I. 35, 38]. Оба они пытались объяснить И. В. Сталину причины и обстоятельства тех шагов Софии и Белграда, которые вызвали гнев советского руководства. Причем частично признавали, что с болгарской или, соответственно, югославской стороны были допущены некоторые ошибки, а частично стремились доказать необоснованность либо чрезмерность предъявленных им обвинений.

Напомним, что первым из трех указанных Молотовым на встрече 10 февраля случаев «разногласий» был реанимированный вдруг советским руководством инцидент более чем полугодовой давности, связанный со сделанным по итогам болгаро-югославских переговоров на Блеле

Гибянский Леонид Якович — заведующий сектором Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ Продолжение, начало в № 3, 4 за 1991 г.

30 июля — 1 августа 1947 г. совместным заявлением о согласовании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами. Отвечая на обвинения по этому пункту, Г. Димитров и Э. Кардель оспаривали советскую интерпретацию бледского заявления. Дело в том, что, как мы уже говорили, и в телеграмме Сталина Димитрову и И. Броз Тито от 12 августа 1947 г. по этому поводу, и во «вступительном слове» Молотова 10 февраля 1948 г. объявление о согласовании договора толковалось как заключение договора между Югославией и Болгарией и тем самым — как игнорирование советской рекомендации воздержаться от этого шага до мирного урегулирования с Болгарией [1, 1-2/17, л. 70; 1-3-б/651, л. 33]. Димитров на это, согласно отчету Джиласа, «сказал, что Югославия и Болгария на Бледи опубликовали не договор, а только сообщение о том, что достигнута договоренность о будущем договоре». То же повторил затем Кардель: «Он говорит, что был опубликован не договор, а только сообщение о договоренности относительно договора» [1, 1-3-б/651, л. 34, 36].

Действительно, в югославо-болгарском протоколе об итогах бледских переговоров не было речи о подписании договора, а говорилось, что оба правительства, «считая необходимым заключить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и после того, как была достигнута между обеими делегациями единодушная договоренность о его основных положениях, составили сам текст договора» [2, с. 84; 3]. Подобная «хитрая» формулировка была употреблена как раз потому, что к тому времени мирный договор с Болгарией еще не вступил в силу. С ее помощью София и Белград пытались совместить, с одной стороны, объявление о фактическом заключении югославо-болгарского договора, с другой — формальное выполнение указания Москвы о его незаключении до начала действия мирного договора². Но из этого следует, что если возражения Димитрова и Карделя имели под собой основание со строго формальной точки зрения, то по существу они, скорее, были такой же тактической уловкой, как сама формулировка югославо-болгарского протокола от 1 августа 1947 г. Ибо и в этой формулировке решение заключить договор между двумя странами противоречило на деле указанной советской установке, тем более, что соглашение на Бледи предусматривало бессрочный характер югославо-болгарского договора — последнее обстоятельство вызвало особое недовольство Сталина в телеграмме от 12 августа 1947 г. [1, 1-2/17, л. 70]³. Как мы уже упоминали, в ответ на сталинскую критику в августе 1947 г. Димитров считал необходимым «признаться, что мы увлеклись по вопросу о договоре» [5, л. 1]. А Тито, прочитав телеграмму Сталина, сказал Лаврентьеву, что правительства Югославии и Болгарии с этим делом «поспешили» [4]. На секретном же вечере совещания в

² На самом деле во время встречи на Бледи договор между Югославией и Болгарией был не только составлен и согласован, но и подписан Тито и Димитровым, причем акт подписания был даже снят на кинолентку [4; 5, л. 1—2]. Однако ввиду указанных выше обстоятельств участники переговоров решили сохранять этот факт в секрете до вступления в силу мирного договора с Болгарией. Потому и появилась на свет формула о согласовании, а не подписании.

³ Посол СССР в Белграде А. И. Лаврентьев, вручивший Тито телеграмму Сталина, сообщил в Москву, что руководитель Югославии, прочитав телеграмму, выразил «некоторое недоумение» в связи с тем, что советскому правительству известно содержание документа, о котором говорились на Бледи, хотя текст хранится в секрете. Тито высказал предположение, что текст передал советской стороне Димитров [4]. Мы не знаем, оправданно ли он «грешил» на своего болгарского коллегу, но узнать о бессрочном договоре можно было и гораздо проще. Несмотря на югославо-болгарскую договоренность о секретности Димитров уже 2 августа 1947 г., возвращаясь с бледских переговоров, заявил ехавшим с ним в поезде журналистам о решении заключить «бессрочный договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве», а на следующий день, 3 августа, выступая с речью по возвращении в Софию, повторил, что окончательно согласован текст «неограниченного по времени договора» [2, с. 517, 520].

в Кремле 10 февраля 1948 г. Димитров, как мы видим, пытался оправдать сделанное на Бледе. Кардель, выступая уже после того, как над болгарским руководителем прогремел гром сталинского гнева, повел себя несколько по-иному: хотя он и выставил тот же оправдательный довод, что и Димитров, однако, счел нужным вместе с тем частично признать ошибку. Он повторил то, что уже говорил Тито Лаврентьеву шестью месяцами раньше: «Мы поторопились» [4, I-3-b/651, л. 36].

Однако болгарские и югославские гости 10 февраля вряд ли сомневались в том, что куда большее значение, чем история с переговорами на Бледе, имеют советские обвинения относительно двух других случаев, только что происшедших, — заявления Димитрова журналистам о федерации и таможенной унии и чуть не осуществившегося ввода югославской дивизии в Албанию.

По поводу федерации и таможенной унии руководитель Болгарии и члены возглавляемой им делегации заняли довольно своеобразную позицию.

С одной стороны, Димитров, продолжая линию самокритики, начатую в выступлении на II съезде Отечественного фронта 2 февраля, согласился с тем, что, отвечая на вопросы корреспондентов, допустил ошибку. Если Молотов, согласно отчету Джиласа о встрече 10 февраля, указал, что «товарищ Димитров слишком увлекается на пресс-конференциях», а на них «нужно быть осторожным», то, как зафиксировано в отчете, ответ Димитрова гласил: «Точно, что на пресс-конференции он (т. е. Димитров. — *Л. Г.*) увлекся» [4, I-3-b/651, л. 33, 34]. Но из отчета не видно, чтобы он развивал самокритику дальше, посыпая голову пеплом, как это утверждалось в мемуарах Карделя [6, с. 113]. Лишь на последовавшую реплику Сталина, что речь идет о «крупных различиях» во внешней политике между СССР и Болгарией и что «ленинская практика — увидеть различия и ошибки и ликвидировать их», «Димитров говорит, что они (т. е. болгарское руководство. — *Л. Г.*) ошибаются, так как еще учатся внешней политике» [4, I-3-b/651, л. 35]⁴. Из отчета Джиласа не видно и того, чтобы Димитров как-то реагировал на другие сталинские высказывания по поводу его интервью, в том числе на тезис Сталина, что «такая (предложенная Димитровым. — *Л. Г.*) федерация неосуществима» [4, I-3-b/651, л. 34]. Видимо, болгарский лидер не очень-то хотел здесь соглашаться, а перечить не считал возможным и потому, наученный многолетним опытом общения с «великим вождем», предпочитал промолчать. Лишь «его уши, — писал впоследствии в своих мемуарах Джилас, — были красными», а на лице «выступили крупные красные пятна. Его редущая шевелюра рассыпалась и ее концы безжизненно висели на морщинистой шее». «Волк с лейпцигского процесса, стоявший, будучи в оковах, наперекор Герингу и нацизму в час его наивысшего подъема, выглядел подавленным и поникшим» [7, с. 113]. Об опустившем голову, молчаливом Димитрове вспоминал, говоря о встрече 10 февраля, и Кардель: руководитель Болгарии выглядел перед Сталиным как «ученик перед учителем» [6, с. 113].

Однако, если судить по отчету Джиласа, написанному почти сразу после встречи, Кардель весьма переборщил не только по части приписываемой Димитрову крайней самокритики, но и относительно того, будто болгарский лидер вообще ничего не возражал на обвинения, как и другие члены болгарской делегации, «считавшие, что должны еще что-то добавить к самокритике Димитрова» [6, с. 113]. Из отчета, наоборот, следует, что Димитров довольно активно пытался оправдать перед Сталиным и

⁴ Согласно мемуарам Карделя, Димитров сказал: «Товарищ Сталин, все мы учимся у вас» [6, с. 113]. Однако в воспоминаниях Джиласа говорится то же, что и в отчете [7, с. 113], который, очевидно, точнее передает ход встречи.

Молотовым стремление Болгарии к объединению усилий с другими «народными демократиями» необходимостью решения сложных экономических задач, стоящих перед страной. «Димитров, — говорится в отчете, — подчеркивает, что Болгария переживает такие экономические трудности, что без сотрудничества с другими государствами не может развиваться». И чуть позже: «Болгария должна ввиду хозяйственных причин сближаться с другими государствами» [1, I-3-b/651, л. 34, 35]. А В. Коларов в ответ на выраженное Сталиным отрицательное отношение к болгаро-румынской таможенной унии возразил, что ведь не только болгары, но и румыны также за ее осуществление. При этом он указал, что текст договора между Болгарией и Румынией, включая пункт о создании таможенной унии, был до его подписания послан советскому правительству, которое не сделало по данному пункту никаких замечаний [1, I-3-b/651, л. 35] (см. также [7, с. 114]). Тем самым Коларов довольно ясно оспаривал и сталинскую позицию относительно болгаро-румынской таможенной унии, и обвинения в том, что болгарское руководство предпринимает ошибочные шаги, поскольку не консультируется с Москвой. Ни о каких покаянных словах Коларова или Костова в отчете Джиласа (как и в его воспоминаниях) не упоминается.

Трудно с определенностью сказать, чем был вызван «взбрык» Коларова, долго прожившего в СССР и вряд ли не знавшего принятых правил субординации в отношениях с «вождем трудящихся всего мира». Но чем бы этот «взбрык» ни объяснялся, имеющиеся источники свидетельствуют, что на контрдоговорах Коларова Сталин на какой-то момент зашнурлся. Он стал выяснять у Молотова, соответствует ли действительности сказанное Коларовым относительно предварительной посылки болгаро-румынского договора с пунктом о таможенной унии в Москву и отсутствии замечаний по данному вопросу с советской стороны. И с явным недовольством должен был выслушать от своего министра иностранных дел подтверждение [1, I-3-b/651, л. 35; 7, с. 114]. Этот, очевидно, неожиданный для Сталина казус несколько ломал «стройность» его обвинений в адрес Димитрова, вынуждал к каким-то объяснениям, не предусмотренным заранее. Как зафиксировано в отчете Джиласа, кремлевский хозяин заявил, что не знал о том, о чем сказал Коларов, и даже признал, что болгарское руководство, не получив от СССР возражений по поводу болгаро-румынской таможенной унии, было вправе считать, что советское правительство согласно [1, I-3-b/651, л. 35].

В нашем распоряжении нет документальных данных, которые бы объясняли, почему доводы Коларова оказались неожиданными для Сталина. Действительно ли он не знал о посланном в Москву проекте договора между Болгарией и Румынией, и вопрос этот решался только Молотовым, не видевшем тогда криминала в таможенной унии указанных стран? Или «вождь» все-таки смотрел проект договора и в тот момент сам не узрел ничего крамольного в намерении создать унию, а потом то ли запмятовал это, то ли вспомнил лишь после возражений Коларова и решил разыграть столь привычный для него очередной спектакль, ссылаясь на свою неосведомленность? В любом случае это должно означать, что совсем недавно, при рассмотрении будущего договора между Болгарией и Румынией (очевидно, в конце 1947 г. или в самом начале января 1948 г.), по крайней мере, Молотов, а возможно, и Сталин не считали создание таможенной унии недопустимым. И не исключено, что иная, отрицательная позиция возникла лишь к концу января 1948 г. после заявления Димитрова о федерации, с идеей которой оказался связан и вопрос об унии.

Однако остается фактом, что на встрече 10 февраля возражения Коларова заставили Сталина прибегнуть пусть и к небольшому, но лавиро-

ванию. И за это сразу же ухватился Димитров, сказавший Сталину, что как раз отсутствие с советской стороны замечаний по пункту о таможенной унии в проекте болгаро-румынского договора позволило ему считать, что Москва не имеет ничего против. «Димитров,— написано в отчете Джиласа,— говорит, что именно это и было причиной того, что он в заявлении (о федерации и таможенной унии.— Л. Г.) зашел дальше, чем было нужно» [1, I-3-B/651, l. 35] (см. также [7, s. 114]). Но Сталин немедленно пресек эту попытку оправдаться, вновь обрушив на Димитрова упреки в том, что тот хотел своим заявлением удивить весь мир.

Если судить по отчету Джиласа, то во время критики Сталиным Димитрова по вопросу о федерации и таможенной унии югославские участники встречи не «встревали», лишь паблюдая за выволочкой, устроенной руководителю Болгарии. Во всяком случае, в отчете не отмечены какие-либо их реплики по этому поводу. Правда, в воспоминаниях Карделя утверждается, что он от имени югославской делегации «кратко заявил, что мы с самого начала были против предложения Димитрова» о федерации в Восточной Европе «прежде всего потому, что считали его нереальным», и что он, Кардель, кратко аргументировал эту югославскую позицию, но не углублялся в обсуждение данной темы, «ибо мы не хотели, чтобы наряду с грубыми нападками Сталина, еще и мы нападали на Димитрова» [6, s. 113]. С точки зрения той линии, которую сразу же взяло руководство Югославии в отношении заявления Димитрова о федерации, о чем мы уже писали, подобный шаг Карделя был бы вполне логичен. Однако более чем сомнительно, чтобы данный принципиально важный момент в поведении югославской делегации не нашел никакого, даже беглого упоминания в отчете Джиласа, составленном для Политбюро ЦК КПЮ и переданном непосредственно в руки Тито. Кстати, ничего подобного нет и в мемуарах Джиласа. Скорее всего указанное «свидетельство» Карделя — из того же ряда неточностей, ошибок, просто вымыслов, вольных или невольных, которыми изобилуют его воспоминания. Пожалуй, более правдоподобным выглядит другой связанный с Карделем эпизод, в этих воспоминаниях вовсе не фигурирующий, а приведенный сначала в первой книге Деднера о Тито и затем в мемуарах Джиласа: там говорилось, что в ответ на замечание Сталина о нереальности таможенных уний как таковых Кардель возразил, что некоторые из них на практике оказались неплохими. На сталинский вопрос о примерах глава югославской делегации сослался на Бенилюкс, который, однако, был тут же охарактеризован «великим вождем», как «ничто» [7, s. 116; 8, s. 189—190; 9, с. 501—502]. Но действительно ли имел место подобный эпизод, сказать трудно. В отчете Джиласа его нет.

О чем свидетельствуют все источники, которыми мы сегодня располагаем, так это об участии Карделя в обсуждении выдвинутой Сталиным идеи создания в первую очередь югославо-болгаро-албанской федерации, причем незамедлительно — югославо-болгарской. Однако в источниках позиция, занятая по данному вопросу руководителем югославской делегации, как и вообще ход обсуждения этой сталинской идеи изображаются по-разному.

Версия мемуаров Карделя выглядит следующим образом. Сказав о необходимости создать прежде всего федерацию Югославии и Болгарии, Сталин спросил представителей обеих стран: «Что вы думаете об этом?» И поглядел на югославов, предлагая тем самым, чтобы они высказались первыми. Кардель, на которого «сталинское предложение свалилось внезапно, как гром среди ясного неба», дал на него, как говорится в воспоминаниях, «отрицательный ответ», поскольку считал, что «Сталин хочет подсунуть нам какого-то троянского коня». Под «троянским конем» подразумевалось болгарское руководство: имелось в виду, что оно зависимо

от Москвы и в случае федеративного объединения Болгарии и Югославии окажется инструментом советского воздействия, давления на югославскую часть федерации. Кардель, по его словам, ожидал, что Сталин обрушится на него, как обрушился на Димитрова, но кремлевский хозяин сдержался и обратил тот же свой вопрос к болгарам. Димитров и другие члены болгарской делегации высказались за федерацию Югославии и Болгарии «с большим воодушевлением». Тогда Кардель стал доказывать, что каждое из двух государств имеет разное историческое прошлое и, «во всяком случае, нужно время, чтобы были созданы условия для федерации». А кроме того, «чтобы направить дискуссию в несколько ином направлении», он заявил, что если бы дело и дошло до югославо-болгарской федерации, то это не могла бы быть федерация из двух членов, а только из семи — шести югославских республик и Болгарии. Болгарские участники встречи стали решительно возражать, Кардель стоял на своем, и тут, согласно этой версии, Сталин вдруг сказал, что югославы правы и федерация должна быть семичленной, а не двухчленной. «Меня, — говорится в воспоминаниях Карделя, — сталинский ответ неприятно ошеломил, так как я ожидал, что он согласится с болгарами и тем облегчит нам сопротивление нажиму, который он оказывал в пользу создания федерации». Но глава югославской делегации тут же возразил, что «здесь вопрос не только в двухчленной или семичленной федерации, но в федерации вообще и что нужно было бы сесть и основательно поговорить о темпах, способе и формах, о которых возникает речь при подготовке столь важных политических решений». Он подчеркнул, «что это долгий процесс, который нельзя завершить в одну ночь». Сталин его, однако, «резко прервал»: «Нет, никакого откладывания, федерацию нужно сформировать, возможно, уже завтра». На что Кардель ответил: «Товарищ Сталин, наша делегация не уполномочена решать эту проблему, ибо и не была уведомлена, что на этой встрече пойдет о том речь, Делегация проинформирует наше Политбюро, и оно примет окончательное решение о позиции Югославии по этому вопросу». Сталин, по словам Карделя, «был взбешен, но больше не проронил ни слова о федерации» [6, s. 114—115].

Отчет Джиласа для Политбюро ЦК КПЮ рисует данный эпизод несколько по-иному. После заявления Сталина о желательности безотлагательного объединения Болгарии и Югославии в федерацию в отчете записано: «Кардель говорит, что мы не торопились с объединением с Болгарией и Албанией, имея в виду международные и внутренние моменты, на что Сталин говорит, что не нужно опаздывать и что это созрело». Вслед за пояснением, что пачать нужно именно с болгаро-югославской федерации, к которой затем присоединится Албания, «великий вождь» особо озаботился, чтобы в данном деле не было забыто соблюдение внешних приличий: «Об этом (создании федерации. — Л. Г.) нужно договориться через народные собрания, волей народов». И далее: «В отношении болгаро-югославского объединения Сталин многократно подчеркнул, что этот вопрос созрел и даже дело дошло до разговора о названии государства» [1, I-3-b/651, l. 38]. А когда чуть позже Димитров попытался поставить экономические вопросы советско-болгарских отношений, «Сталин прервал его репликой, что об этом он будет разговаривать с совместным югославо-болгарским правительством» [1, I-3-b/651, l. 39].

Таким образом, в обеих версиях есть как общее, так и существенные различия. Начнем с различий. Это, как мы видели, приводимые в воспоминаниях Карделя сведения о его прямых возражениях «отцу и учителю» и о полемике с болгарскими представителями, равно как и вообще об участии болгар в обсуждении указанного вопроса. В отчете Джиласа ничего подобного нет. Чему же верить? Как и в предыдущем случае и по тем же причинам отчет внушает большее доверие. Конечно, в нем все да-

валось в довольно кратком, обобщенном виде, и многие детали могли туда не попасть. Но трудно себе представить, чтобы столь значительные нюансы, о которых говорится у Карделя, Джилас просто не посчитал нужным как-либо отразить в отчете. К тому же сказанное в отчете почти совпадает с тем, как данный эпизод был изображен впоследствии в мемуарах Джиласа [7, с. 116; 8, с. 190] и в первой книге В. Дедиера о Тито [9, с. 502—503] (это же повторено и в ее многотомном варианте [10, с. 293, 294]). А ведь Дедиер, составляя текст о встрече 10 февраля, пользовался и материалами своих бесед с Карделем в 1952 г. [10, с. 283]. Выходит, Кардель, тогда, всего четыре года спустя после 1948 г., не помнил того, что «вспомнил» через тридцать лет после событий, в 1978 г., когда диктовал мемуары? Из сопоставления всех названных источников логичнее, видимо, заключить, что мемуары Карделя дают далеко не адекватную картину и этого эпизода.

Безусловного же доверия заслуживает лишь то общее, что содержится в обеих приведенных нами версиях. Совершенно ясно, что на заявление Сталина о необходимости срочного создания болгаро-югославской федерации Кардель не дал положительного ответа. Он пытался избежать обсуждения данного вопроса по существу, маневрировал: указывал на то, что югославское руководство имело в виду перспективу федерации, но одновременно ссылаясь на необходимость созревания соответствующих условий, на длительность подготовительного процесса. Сталин же настаивал, что условия созрели и нужно не откладывать образование федерации. Но никаким определенным результатом либо хотя бы предварительной договоренностью по этому поводу встреча 10 февраля не увенчалась. Во всяком случае, югославы явно уклонились от обещаний или тем более обязательств. Действительно ли Кардель в итоге сказал, что должен мнение Сталина доложить Политбюро ЦК КПЮ, или он этого не говорил, — в любом случае сталинское указание как бы повисло в воздухе. Югославская сторона не взяла сразу под козырек, и тем самым в советско-югославских отношениях встал вопрос о том, каков будет ее последующий ответ.

Чем же были обусловлены подобные, потенциально чреватые возможностью взаимных осложнений позиции, занятые в этом случае Сталиным, с одной стороны, и югославской делегацией — с другой?

Мы уже говорили о том, что пока не известны какие-либо советские документы, которые бы с определенностью свидетельствовали об истинных намерениях Сталина в начале 1948 г. в связи с вопросом о федерациях или конфедерациях в Восточной Европе, равно как и о мотивах, коими он тут руководствовался. Хотя, как отмечалось нами в предыдущих очерках, весьма логичным выглядит многократно высказывавшееся в зарубежной литературе соображение о том, что «вождь народов», видимо, опасался, как бы широкое объединение «народных демократий», о перспективах которого заявил Димитров 17 января 1948 г., не привело к утрате его, Сталина, контроля над ними. Если это было подлинной причиной, то вполне понятна его столь жесткая реакция на заявление Димитрова журналистам — требовалось в зародыше уничтожить «крамольную» идею, чтобы она не получила распространения среди руководителей восточноевропейских стран⁵. Но почему в таком случае Сталин, заклеив саму

⁵ Согласно отчету Джиласа, Сталин, обрушившись во время встречи 10 февраля на Димитрова по поводу заявления о будущей восточноевропейской федерации, сказал, в частности, о том, что обсуждал этот вопрос с поляками, «которые в те дни были в Москве» [1, I-3-b/651, л. 33]. Имелась, очевидно, в виду польская правительственная делегация, находившаяся в Москве с 15 по 27 января 1948 г. Ее возглавлял премьер-министр Ю. Циранкевич, но что еще важнее — в состав делегации входили являвшиеся членами правительства руководящие деятели Польской рабочей партии (ППР): генеральный секретарь В. Гомулка и один из наиболее влиятельных членов Политбюро

мысль Димитрова о федерации «народных демократий» в рамках всей Восточной Европы, высказался на том же совещании 10 февраля за образование трех малых федераций — польско-чехословацкой, румыно-венгерской и югославо-болгаро-албанской? И почему стал столь решительно настаивать на безотлагательном создании федерации между Югославией и Болгарией?

Касаясь этой казалась бы противоречивой сталинской позиции, Я. Пташиньский, автор известной книги о В. Гомулке, приводил мнение, высказанное ему Гомулкой много лет спустя. Тот, если верить Пташиньскому, считал, что Сталин на самом деле не был противником идеи федерации, наоборот, являлся ее инициатором. В качестве доказательства Гомулка ссылаясь на то, что Сталин беседовал с ним о федерации Польши и Чехословакии. Польский лидер полагал, что такие же беседы кремлевский хозяин вел с Димитровым и Тито. Но, объяснял Гомулка, Сталин не хотел, чтобы вопрос о федерации получил какую-либо огласку до того, как он будет детально подготовлен, а поскольку Димитров, как и Тито, уже развили вокруг этой идеи организационную и политическую деятельность, да Димитров и вообще заявил о ней публично, советский руководитель счел необходимым выступить против. По мнению Пташиньского, ход совещания в Кремле 10 февраля, о котором он судит по мемуарам Джиласа, подтверждал соображения Гомулки, ибо сталинская критика поведения Димитрова касалась не концепции федерации, а метода действий, тактики реализации идеи — ведь Сталин высказался на совещании за три малые федерации [12].

Соображения Гомулки, как и следовавшего за ним Пташиньского, едва ли могут быть приняты в качестве объяснения сталинской позиции, поскольку в них явно смешаны две разные вещи: высказанная Димитровым идея восточноевропейской федерации от Балтики до Средиземноморья, с одной стороны, и выдвигавшийся Сталиным план образования нескольких небольших федераций в этом регионе — с другой⁶. Утверждение

Х. Минц. Делегация имела беседы со Сталиным, Молотовым, Микояном [11, 27, 28 I]. Как записано в отчете Джиласа, на встрече 10 февраля Сталин сообщил, что сначала поляков «советские представители спросили, что они думают о заявлении Димитрова. Они сказали, что согласны, а когда им Сталин сказал, что Советский Союз против, они сказали также, что против, но думали, что это позиция и предписание Москвы» [4, I-3-B/651, l. 33—34].

⁶ В этой связи, кстати, непонятно, что имел в виду Гомулка, когда в качестве тех, кто развернул вызвавший сталинский гнев «организационную и политическую деятельность» в пользу осуществления идеи федерации, назвал Пташиньскому не только Димитрова, но и Тито. Если речь именно об идее восточноевропейской федерации Димитрова, осужденной Сталиным, то документы, уже рассматривавшиеся нами в предыдущих очерках, ясно свидетельствуют, что на самом деле Тито вовсе не одобрял выступления Димитрова. Если же речь о югославо-болгарской федерации, то, как мы видели, именно Сталин высказался на заседании 10 февраля за безотлагательное ее создание, а югославская сторона, наоборот, не проявила такого желания. Возможно, Гомулка находясь во власти представлений, сложившихся в результате обвинений, выдвинутых против югославского руководства в период разрыва 1948—1953 гг. Среди этих обвинений было утверждение о том, что Тито и его окружение всячески форсировали создание Балканской федерации под своим руководством с целью отрыва балканских стран от СССР. Данная версия получила весьма широкое распространение и повторялась даже позднее, например, Молотовым на пленуме ЦК КПСС в июле 1955 г., когда рассматривались итоги состоявшегося накануне визита советских руководителей в Белград с целью нормализации советско-югославских отношений. При этом Молотов не приводил никаких конкретных данных, а ссылаясь лишь на то, что усилия Тито по созданию Балканской федерации «хорошо известны» и что «в начале 1948 г. мы (советское руководство. — Л. Г.) воспротивились этому плану» (выступление Молотова цитируется К. Капланом по архиву ЦК компартии Чехословакии [13]). Между тем, как мы видели, дело обстоит совсем наоборот: вопрос о необходимости образования федерации трех балканских стран выдвинул на встрече 10 февраля Сталин, югославское же руководство в период, непосредственно предшествовавший московскому совещанию, проблему создания Балканской федерации в практическом плане

Пташиньского, будто речь шла об одной и той же концепции, а различия, в том числе сталинский проект малых федераций, касались лишь тактики ее реализации, ни на чем не основано. Ибо не известно ни о каком высказывании Сталина в пользу федерации вообще в Восточной Европе, наоборот, во всех случаях, о которых мы знаем, он вел речь только об ограниченных объединениях двух-трех стран. Так было осенью 1944 — в начале 1945 г., когда он впервые выступил за федеративное решение в данном регионе — речь тогда шла о югославо-болгарской федерации [1, I-3-b/586, л. 1—3; 14] (см. также [15, с. 172—173]). Так было при обсуждении с Джиласом 17 января 1948 г. вопроса о югославо-албанском объединении [15, с. 180—181]. Так было и на встрече 10 февраля. Да и само свидетельство Гомулки, обнародованное Пташиньским, говорит о том же: «великий вождь» беседовал с Гомулкой о польско-чехословацкой федерации. Единственный раз, когда кремлевский властитель вообще каким-то образом связал проекты локальных, двух-трехчленных федераций с вопросом о государственной структуре всего восточноевропейского региона в целом (а так было только на встрече 10 февраля), он сделал это именно как категорическое противопоставление подобных отдельных федераций региональному замыслу Димитрова.

Так что из имеющегося материала едва ли следует, что сталинская критика этого замысла вызывалась чисто тактическими соображениями несвоевременности его огласки. Скорее, материал дает основание полагать, что как раз само существо замысла не только не разделялось, но и отвергалось Сталиным. А вот почему — в самом ли деле из-за боязни ослабления своего контроля над Восточной Европой или по другим причинам — требует дальнейшего выяснения, которое, как мы уже отмечали, возможно только при наличии соответствующих сугубо доверительных, рабочих документов советского руководства, пока что недоступных и неизвестно существующих ли вообще.

Что касается проекта создания нескольких небольших федераций в Восточной Европе, то обращает на себя внимание существенное обстоятельство: выдвигая этот проект на встрече 10 февраля, Сталин в качестве его практической направленности обозначил, если исходить из отчета Джиласа, во-первых, уже упомянутое противопоставление общерегиональной идее Димитрова, во-вторых, безотлагательное, срочное объединение Болгарии и Югославии. О других же федеративных образованиях говорилось лишь как об общей перспективе, без какой-либо конкретизации сроков, хотя бы приблизительных. Это, естественно, порождает вопрос: а не сводились ли при выдвижении данного проекта действительные цели «отца и учителя» лишь к названным двум моментам? Не было ли все остальное вообще лишь маскировочным фоном, прикрытием, обычным в такого рода делах, тем более, что по части камуфляжа Сталин являлся большим мастером? Правда, как уже говорилось, имеется обнародованное Пташиньским свидетельство Гомулки о том, что Сталин беседовал с ним о польско-чехословацкой федерации. Есть и свидетельство другого влиятельного тогда руководителя ППР — Я. Бермана, рассказывавшего впоследствии Т. Тораньской, что среди возникших в конце 40-х годов — без уточнения, по чьей инициативе, — различных федеративных замыслов был и вариант федерирования Польши с Чехословакией, который «Сталин поддерживал» [16, с. 103]. Однако ни в одном из этих свидетельств не уточнялось, когда именно, при каких обстоятельствах и что конкретно

не ставило и никакой критике по этой части ни на самом совещании, ни в секретной советско-югославской переписке как до, так и после него не подвергалось. Непосредственно действия Белграда в тот момент были направлены на фактическое федерирование с Албанией, точнее — на усиление своего патронажа в отношении этой страны, что действительно вызвало активную советскую реакцию.

говорил «вождь» представителям польского руководства по поводу польско-чехословацкой федерации. И, соответственно, трудно сказать, всерьез ли он замыслил ее создание. К тому же возникает вопрос, насколько адекватно Гомулка и Берман помнили много лет спустя события, касавшиеся проблемы федерирования: выше уже отмечались явно ошибочные утверждения Гомулки по поводу Балканской федерации; Берман же уверял, что концепцией нескольких малых федераций Венгрия вовсе не охватывалась, что идея болгаро-югославской федерации встретила противодействие Сталина, а Димитров занимал «проюгославскую позицию» [16, s. 103—104]. Но как бы ни относиться к данным свидетельствам и независимо от того, действительно ли Сталин планировал образование трех федераций или выдвинутый им проект был только «сервировкой» двух названных выше целей, очевидно, что на самой встрече сталинский проект конкретно обслуживал именно эти две поставленные в практическую плоскость непосредственные цели: утопить высказанную Димитровым идею общевосточноевропейской федерации и добиться безотлагательного создания болгаро-югославской федерации.

Выясняя, зачем «великому кормчему» столь срочно понадобилась болгаро-югославская федерация, напомним, что впервые он выступил за такое решение еще осенью 1944 — в начале 1945 г. И хотя в распоряжении исторической науки пока нет документов, которые бы прямо указывали на то, какими являлись тогда побудительные мотивы его заинтересованности в объединении Болгарии и Югославии, мотивы эти лежат на поверхности. Здесь был явный расчет значительно укрепить с помощью федерирования внутреннее и внешнеполитическое положение «народно-демократического» режима Болгарии как ввиду несравненно более тогда прочной власти коммунистов в Югославии, так и вследствие того, что путем образования совместного государства с Югославией, являвшейся членом антигитлеровской коалиции, Болгария избавлялась от статуса бывшего вражеского, побежденного государства, а тем самым Великобритания и США лишались в отношении нее своих прерогатив определенного участия в союзническом контроле. Иными словами, Сталин руководствовался вовсе не идеей федерации, а сугубо конкретной ситуацией, сложившейся в тот момент в связи с Болгарией, и вытекавшей из нее прагматической задачей создать более благоприятные условия для укоренения в этой стране нового порядка, усиления доминирующей роли компартии, утверждения ее всевластия. Но указанная внутренняя и внешнеполитическая ситуация, характерная для Болгарии в конце 1944 — начале 1945 г., со временем изменилась, в частности, после заключения мирного договора с Болгарией и вступления его в силу. Во всяком случае, к началу 1948 г. она уже была в прошлом, а тем самым отпадали и те непосредственные причины, которые первоначально вызывали сталинскую заинтересованность в болгаро-югославской федерации. Значит, должна была появиться иная, новая причина, побудившая Сталина реанимировать 10 февраля вопрос о федерации. Как внутривнутриполитическое, так и международное положение Болгарии в то время не давало оснований для подобной реанимации, тем более для столь сильной спешки с объединением. Выходит, причиной была Югославия? Но с точки зрения внутренней прочности новой власти и своего внешнеполитического положения Югославия также не давала поводов для такого рода беспокойства. Остается предположить одно — неожиданное требование Сталина на встрече 10 февраля было обусловлено его недовольством политикой Белграда и Софии, из-за которого и было организовано это совещание в Кремле.

В чем же могли конкретно заключаться сталинские расчеты? Одна версия по этому поводу существует давно. Мы уже приводили содержавшееся в мемуарах Карделя утверждение о том, что, как только Сталин поставил

на встрече 10 февраля вопрос о необходимости срочного создания болгаро-югославской федерации, он, Кардель, сознавая «полную зависимость» болгарского руководства от кремлевского властелина, сразу ощутил опасность подбрасывания таким образом югославам своего рода «тройного коня», чтобы покочичить с независимостью Югославии [6, с. 114]. На расширенном заседании Политбюро ЦК КПЮ 1 марта 1948 г., где обсуждались результаты встречи в Москве, Кардель, судя по протоколу, говорил о своем «впечатлении, что они (советское руководство. — Л. Г.) хотели с помощью федерации установить более сильное влияние через НКВД»⁷. Тито на том же заседании при рассмотрении вопроса о федерации также прибег к формуле о «тройном коне», роль которого, по его мнению, могла сыграть компартия Болгарии по отношению к КПЮ [10, с. 304, 306]. Эта точка зрения была затем перенесена в югославскую историографию Деднером, который в своей первой книге о Тито писал: «Очевидно, Сталин считал, что в болгарском правительстве у него есть большое число своих людей, проводших в СССР по десять-пятнадцать лет, и думал, что путем федерации между Югославией и Болгарией легче подчинить Югославию как самый сильный фактор в этой части Европы» [9, с. 499]. Подобная официозная оценка неизменно повторялась в качестве единственно верной и бесспорной в последующей югославской литературе. Из книги Деднера она была широко заимствована и на Западе.

Несомненно, что в болгарском руководстве, среди кадров компартии, занявших ключевые позиции также в госаппарате, действительно было по сравнению с соответствующими югославскими сферами гораздо больше людей, связанных с СССР не только идейными убеждениями, но и прежней многолетней эмиграцией в Советском Союзе, откуда многие из них, включая таких видных деятелей, как Г. Димитров, В. Коларов, В. Червенков, Г. Дамянов, В. Поптомов, возвратились в Болгарию уже после 9 сентября 1944 г. Очевидно и то, что в значительной, если не подавляющей, части указанные кадры оказались под несравненно большим советским влиянием и даже прямым контролем, чем их югославские коллеги. Свидетельством тому стало само дальнейшее развитие советско-югославского конфликта 1948 г., когда тот же Димитров, стремившийся к тесной взаимосвязи с Тито и явно не склонный к разрыву с Югославией, послушно последовал за советской стороной⁸. Другим таким свидетельством ста-

⁷ А. Ранкович, ведавший югославскими органами внутренних дел и госбезопасности, на этом заседании, как зафиксировано в протоколе, сказал, что в Болгарии «русские имеют полный доступ ко всем делам, так, напр[имер], в министерство внутренних дел» [10, с. 307].

⁸ Характерен в этом смысле эпизод, описанный в мемуарах Джиласа. 19 апреля 1948 г., когда советско-югославский конфликт развертывался уже полным ходом, хотя все еще сохранялся обеими сторонами в тайне от общественности, болгарская правительственная делегация во главе с Димитровым, следовавшая в Чехословакию, прибыла в Белград, где на железнодорожной станции ее встречал и провожал от имени югославского руководства Джилас вместе с некоторыми другими официальными лицами. Согласно свидетельству Джиласа, в течение нескольких минут, когда он и Димитров беседовали без сопровождающих, болгарский лидер, которого, как и руководящих деятелей других партий — членов Информбюро, советская сторона оповестила своих претензиях к югославскому руководству, выразил поддержку югославам в противостоянии необоснованным обвинениям и грубому нажиму со стороны СССР. Однако, как только они затем вошли в салон-вагон, где находились другие члены болгарской делегации, в частности Червенков, поведение Димитрова резко изменилось: он стал говорить о необходимости учитывать «критику», исходящую от ЦК ВКП(б) [8, с. 214—215]. Более того, днем раньше, 18 апреля, Димитров уже направил в ЦК ВКП(б) А. А. Жданову решение болгарского Политбюро, принятое еще 6 апреля, в котором выражалась полная солидарность с советскими обвинениями в адрес югославского руководства [1, 1-3-б/142, л. 1—4]. Показателем и другой пример. 29 июля 1948 г., в день, когда была опубликована резолюция Информбюро с теперь уже открытым осуждением югославы, болгарское правительство направило Югославии ноту, в которой выражалось мнение, что решение Информбюро не меняет дружественных

ли события, связанные с «раскрученным» год спустя «делом» Т. Костова (см. [18]). Надо думать, Сталин и его окружение сознавали имевшиеся у них серьезные возможности воздействия на деятелей компартии Болгарии, тем более, что Кремль имел достаточный опыт работы с Димитровым, Коларовым и другими в годы их пребывания в СССР. С этой точки зрения изложенная выше версия сталинских расчетов в связи с предложением об образовании болгаро-югославской федерации выглядит довольно логичной. Но, разумеется, логичной в том случае, если считать за аксиому, что главной, определяющей причиной тревоги в советских верхах, из-за которой была созвана встреча 10 февраля, являлась именно Югославия.

Сами вопросы, поставленные на встрече советской стороной, и ход их обсуждения не дают, однако, основания для такого аксиоматичного вывода. Скорее они свидетельствуют по крайней мере о равном недовольстве Москвы действиями как югославских, так и болгарских руководителей, если даже не о большем в данный момент обеспокоенности как раз болгарскими действиями. Ибо из того, что говорилось на этом совещании Молотовым и особенно Сталиным, создается впечатление, что наибольшую озабоченность и гнев Кремля вызвала все-таки публично высказанная Димитровым идея широкого федеративного объединения восточноевропейских стран, подкрепленного их таможенным, т. е. торгово-экономическим, объединением. Во всяком случае, судя как по отчету Джиласа для югославского руководства о встрече 10 февраля, так и по мемуарам его и Карделя, как раз этот вопрос занял, пожалуй, центральное место на встрече. Если так, то вполне возможно, что Сталин, настаивая на безотлагательном создании болгаро-югославской федерации, руководствовался вовсе не теми замыслами, которые предположил Дедниер. Не исключено, например, что стимулом служило, наоборот, критическое отношение к заявлениям Димитрова 17 января, проявленное, как уже говорилось, югославским руководством, обратившимся в данной связи даже с жалобой в Москву на болгарского лидера. Сталин мог как раз рассчитывать на то, что в рамках федерации между Югославией и Болгарией югославская часть станет тормозом в случае, если вновь оживет димитровская идея восточноевропейской федерации, против которой генералиссимус так ополчился на встрече 10 февраля.

Однако не менее вероятно, что сталинское предложение-указание о федерировании Болгарии с Югославией было обусловлено не только — а возможно, и не столько — теми моментами, которые явились предметом обсуждения на этой встрече, но какими-то иными существенными обстоятельствами, вовсе на ней не фигурировавшими. Тут, вполне естественно, возникает в первую очередь мысль о тех обвинениях югославского руководства в «национальной ограниченности», умалении роли СССР, стремлении утвердить «вождизм» Тито и поставить его чуть ли не вровень с общепризнанным и единственным «вождем» — Сталиным, которые в предшествующие месяцы поступали секретным порядком в Москву от посольства СССР в Белграде. Об этих обвинениях уже шла речь в предыдущих очерках данной серии [19; 20]. Причем мы отмечали, что хотя посольство предлагало вынести указанные обвинения на обсуждение либо между ЦК ВКП(б) и ЦК КПЮ, либо даже «по линии Информбюро», ничего подобного с советской стороны в конце 1947 — январе 1948 г. так и не было сделано. В частности, во время первого заседания Информбюро, состоявшегося в середине января 1948 г. в Белграде, отсутствовали какие-либо намеки такого рода [20, с. 201]. Не было подобных намеков и во время контактов советских

отношений между двумя странами, и содержались заверения, что Болгария будет продолжать эти отношения [17]. Однако затем болгарская сторона активно включилась в общую антиюгославскую кампанию, проводившуюся государствами «соцлагеря» под советским руководством.

руководящих лиц с Джиласом, находившимся в Москве с 17 января вплоть до встречи 10 февраля. Наконец, ни слова по данному поводу не говорилось на самой встрече. Но значило ли это, что упомянутые посольские донесения с тенденциозно подобранным, просто искусственным «компрома-том» на Тито вообще не принимались Сталиным во внимание, не сказывались на его расчетах и устремлениях? Весьма возможно, что как раз наоборот — оказывали на него самое серьезное влияние, но в свойственной ему манере он предпочитал до поры, до времени не выкладывать подобные обвинения на стол, а действовать закулисно, расставляя югославскому руководству капканы. И в таком случае одним из капканов вполне могло быть предложение о срочном создании югославо-болгарской федерации — по тем самым причинам, которые предполагал Деднер.

К тому же, насколько можно судить, «компрома-т» в отношении югославов поступал в Москву не только от советского посольства в Белграде, но и из других источников. Например, несколько позже, в начале апреля 1948 г., в беседе с югославским послом в СССР В. Поповичем Молотов ссылался на получешную им от венгров информацию о высказываниях Джиласа, якобы говорившего «венгерским товарищам», что в Югославии нет нужды изучать в системе политпросвета «Краткий курс» истории ВКП(б) [1, 1-3-б/655, л. 170] ⁹. По утверждениям очевидца, во время визита в Венгрию в декабре 1947 г. югославской правительственной делегации возглавлявший ее Тито на встрече в узком кругу с несколькими руководящими деятелями венгерской компартии, включая членов Политбюро Э. Гере и Й. Реваи, позволил себе критически отозваться об излишней, по его мнению, осторожности, проявленной после войны Сталиным: тот не ориентировал французских и итальянских коммунистов на захват власти в своих странах по югославскому примеру и действия самих югославов ему тоже не нравились. Замечания Тито, по словам того же очевидца, вызвали замешательство у венгерских участников встречи [22]. Если данный эпизод действительно имел место, то вряд ли он остался тайной для Кремля, который скорее всего получил от венгров информацию и об этом. Так что причин для стремления «дать окорот» прежде всего именно югославскому руководству могло у Сталина набраться по тем временам вполне достаточно.

Впрочем, вполне вероятен и, так сказать, «совмещенный» вариант: кремлевский хозяин, действуя в привычном для него духе, рассчитывал на то, что в случае объединения Болгарии с Югославией неизбежным внутри новой федерации окажется соперничество между руководящими структурами, партийно-государственными кадрами двух стран и в своей конкурентной борьбе каждая из сторон будет искать поддержки Москвы, которая приобретет таким образом дополнительные возможности держать в узде и тех и других. А неизбежность такого рода болгаро-югославских противоречий была достаточно очевидной — ведь Сталин отлично знал об изначально возникших между Софией и Белградом еще на рубеже 1944—1945 гг. разногласиях о том, будет ли их федерация состоять из двух равноправных членов или же Болгария получит всего лишь статус, аналогичный статусу каждой из шести югославских республик, т. е. на деле просто войдет в состав Югославии. И разногласия эти так и не были разрешены ¹⁰. Так что проблема объединения двух стран, будучи поставлена

⁹ Югославское руководство в ответ на молотовские замечания утверждало, что такого Джилас не говорил [21].

¹⁰ Вопрос этот обсуждался на состоявшейся в Москве 9 января 1945 г. встрече Сталина с представителями югославского руководства, а затем две недели спустя — на совещании Сталина с болгарской и югославской делегациями. В обоих случаях советский руководитель высказался за федерацию из двух равноправных частей — Югославии и Болгарии [1, 1-3-б/586, л. 1—2; 4], что соответствовало болгарской пози-

в практическую плоскость, сразу же должна была вызвать осложнения между ними и неизбежный арбитраж Кремля.

Наконец, действительно ли советский властитель стремился к образованию болгаро-югославской федерации? Вопрос этот встает потому, что в том же отчете Джиласа зафиксировано: вдруг, уже после всех своих слов о ее безотлагательности, «Сталин далее отметил, что мы (т. е. Югославия и Болгария) должны укрепить экономику, культуру, армию, а федерации — абстрактная вещь» [1, I-3-b/651, л. 39]. Что это значило? Имелась ли в виду опять димитровская идея восточноевропейской федерации или замечание касалось федераций как таковых? Если подразумевалось последнее, то не была ли высказанная перед тем сталинская настойчивость в пользу немедленного создания болгаро-югославской федерации просто очередным спектаклем, который «великий вождь» в свойственной ему манере разыграл перед гостями из Белграда и Софии? Быть может, целью была лишь проверка их на готовность к подчинению «высочайшим директивам»? Подобное не исключено, поскольку риска для Москвы здесь, пожалуй, не было: ведь реализация «директив» все равно была крайне проблематична из-за уже упомянутого несогласия между болгарами и югославами по поводу структуры такой федерации. Зато Сталин получал пока что дополнительную возможность для их «тестирования», а заодно и для оказания нужного ему нажима.

Но, разумеется, ясный ответ на вопрос о том, какой из перечисленных вариантов был действительной причиной сталинского указания о безотлагательности болгаро-югославской федерации (и был ли какой-нибудь вообще), могут дать только соответствующие документы советского руководства. А такого рода материалы до сих пор были упрятаны за семью печатями в секретных архивах.

А чем была обусловлена позиция, которую на встрече 10 февраля заняла по вопросу о федерации югославская делегация?

(Окончание следует)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Arhiv Josipa Broza Tita (Белград), Kabinet Maršala Jugoslavije.
2. Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 1947. Т. II. Beograd, 1986.
3. Външна политика на Народна република България. Сборник от документи и материали. Т. 1. София, 1970, с. 92.
4. Архив внешней политики СССР.
5. Arhiv SK SKJ (Белград), IX 1—II/79.
6. Kardelj E. Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944—1957. Sećanja. Beograd: Ljubljana, 1980.
7. Dilas M. Razgovori sa Staljinom. Beograd, 1990.
8. Djilas M. Jahre der Macht: Kräftespiel hinter dem Eisernen Vorhang. Memoiren 1945—1966. München, 1983.
9. Дедиџер В. Јосип Броз Тито: Прилози за биографију. Београд, 1953.
10. Dediđer V. Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita. Т. 3. Beograd, 1984.
11. Правда, 1948.
12. Ptasiński J. Pierwszy z trzech zwrotów czyli rzecz o Władysławie Gomułce. Warszawa, 1984, s. 110.
13. Kaplan K. Report on the Murder of the General Secretary. Columbus, 1990, p. 3.
14. Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 1941—1945. Т. II. Beograd, 1989, s. 311.
15. Губианский Л. Я. У начала конфликта: балканский узел.— Рабочий класс и современный мир, 1990, № 2.
16. Toraińska T. Oni. Warszawa, 1990.

ции. Однако югославская делегация, срочно запросившая тогда у Белграда инструкции [1, I-3-b/586, л. 3], известила затем своих болгарских партнеров по московским переговорам, что не может принять «дуалистическое решение» [23].

17. Bela knjiga o agresivnim postupcima vlada SSSR, Poljske, Cehoslovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije prema Jugoslaviji. Beograd, 1951, s. 71.
18. *Исусов М.* Последната година на Трајчо Костов. Софија, 1990.
19. *Бузаркин И. В., Гибианский Л. Я.* Первые шаги конфликта.— Рабочий класс в современный мир, 1990, № 5.
20. *Гибианский Л. Я.* Вызов в Москву.— Политические исследования, 1991, № 1.
21. Писма ЦК КПЈ и писма ЦК СКП(б). Београд, 1948, с. 22.
22. *Gati Ch.* The Democratic Interlude in Post-War Hungary.— Survey: A Journal of East and West Studies (London), 1984, № 2, p. 103.
23. *Avramovski Z.* Devet projekata ugovora o jugoslovensko-bugarskom savezu i federaciji (1944—1947).— Istorija 20 veka, 1984, br. 2, s. 121.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Андонова Н.* За Гоце Делчев войвода. Софија, 1990, 167 с., 4 л. ил.
- Аретос Н.* Преводната белетристика от първата половина на XIX в.: Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията. Софија, 1990, 246 с.
- Артамонов В. А.* Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709—1714). М., 1990, 208 с.
- Баран В. Д., Козак Д. Н., Терпиловский Р. В.* Походження слов'ян. Київ, 1991, 141 с., іл.
- Белякова С. М., Новикова Л. А., Фролов Н. К.* Введение в славянскую филологию: Учеб. пособие. Тюмень, 1991, 94 с.
- Бичев Д.* С поглед отвън: Развојни тенденции и жанрови структури в Бълг. проза. Софија, 1990, 198 с.
- Босв В., Марков М., Минчев М.* Демокрација и самоуправление. Софија, 1990, 240 с.
- Бочев С.* Белене: Сказание за концлагерна България. Софија, 1990.
- Буцко О. В.* Взаимоотношения советских воинов с населением Польши, 1944—1945. Киев, 1991, 141 с., 4 л. ил.
- Влахов-Мицов С.* Сенки от мрака на официалната литература. Софија, 1990, 246 с.
- Греков М.* Как ние освобождавахме България. Софија, 1990.
- Джурова А.* Томичов псалтир: в 2 т. (Център за славяновизантийски проучвания «Иван Дуйчев»). Софија. т. I, 1990, 247 с., ил.
- Драганов Д.* В сянката на сталинизма: Коммунистическото движение след Втората световна война Софија, 1990, 279 с.
- Дуйчев И.* Рилският светец и неговата обител.— Фототип. изд. 1947 г. Софија, 1990, VII, 432 с.
- Един век култура на България: Отражена в мемоарната литература. Библиогр. указ., Ч. 3. Софија, 1990, 580 с.
- Златанова Р.* Структура на простот изречение в книжовния старобългарски език. Софија, 1990, 204 с.
- Лиречек К.* Историја Срба. Исправлено и допушено изд., књ. I. Политичка историја. До 1537 године. XIV. Београд, 1990, 512 с.; књ. 2. Културна историја. XVI, 565 с.
- Кендерова С., Бешевлиев Б.* Балканският полуостров изобразен в картите на Ал-Идриси: Палеографско и историко-географско изследване, ч. 1. Софија, 1990, 199 с., 7 л. ил., 7 отд. л. ил.
- Ковалев Г. Ф.* Этнонимия славянских языков, номинация и словообразование. Воронеж, 1991, 176 с.
- Константин Багрянородный.* Об управлении империей: (Текст, пер., коммент.) М., 1991, 496 с., ил. + 1 отд. л. карт.
- Косик В. И.* Русская политика в Болгарии, 1879—1886. М., 1991, 180 с.
- Косовско-метохијски зборник.* Меѓудоделенски одб. за проучвање Косова и Метохије. Београд, 1990, I. 427 с., ил., 19 л.
- Кунчев Б.* Поглед към поезията. Софија, 1990, 224 с.
- Куренная Н. М.* Йозеф Дарваш: судьба и творчество. М., 1991, 113 с.
- Лазаров М.* Антична рисуванa керамика в България. Софија, 1990, 142 с., ил.
- Лазаров Т.* Шрихи от моя живот: Сиомени и парламентарни речи. Софија, 1991, 135 с.
- Лалова З.* Цвятко Аврамов: Бурни дни идат. Софија, 1991, 223 с., 3 л. ил.
- Лапшин А. О.* Перемены в странах Восточной Европы: к чему они ведут. М., 1991, 63 с.



НИКОЛЬСКИЙ С. В.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА И ИСКУССТВО ИНОСКАЗАНИЯ

В художественной литературе XX в. довольно широкое распространение получили романы, повести и драмы, созданные с использованием научно-фантастического элемента. Начиная с 20-х годов произведения такого рода стали часто появляться и в славянских литературах — правда, поначалу главным образом в двух из них — чешской и русской. Вспомним имена К. Чапека, Е. Замятина, А. Беляева, А. Толстого, М. Булгакова и др.

Научно-фантастический элемент обнаружил способность легко синтезироваться с разнообразными художественными формами. У Чапека, например, он взаимодействует с поэтикой детективного и приключенческого жанра, с сатирой, с философским мышлением и даже с лирической стихией. В настоящей статье речь пойдет о взаимодействии научно-фантастической поэтики с иносказанием, с эзоповым языком, с тайнописью. Материалом послужит творчество Чапека и Булгакова. У Чапека в этой связи можно было бы говорить о целом ряде произведений и прозаических, и драматических. Но природу указанного явления, может быть, удобнее всего показать сначала на романе «Кракатит» (1924). В нем повествуется о гениальном, хотя и безвестном, инженере-химике, сумевшем в одиночку создать взрывчатое вещество колоссальной разрушительной силы. В основе сюжета — история борьбы Прокопа за сохранение секрета изобретения, на который покушаются и заурядные завистники, стремящиеся выкрасть формулу кракатита, и военные круги соседнего государства, похищающие самого Прокопа, и тайная анархистская организация, ищущая доступа к необыкновенному оружию. Вместе с тем это роман о любви.

Кроме непосредственного изображения событий в романе можно выделить несколько вторичных смысловых планов. Так, уже само представление о кракатите как бы обрастает косвенными значениями. Вокруг него образуется особое ассоциативное поле. В прямом смысле это слово служит названием взрывчатого порошка, который детонирует под воздействием определенного вида радиоволн. Щепотки этого вещества достаточно, чтобы превратить в пыль и щебень большой город. Слово «кракатит» образовано автором от названия вулкана Кракатау (Зондский архипелаг), извержение которого в 1883 г. было одним из самых грозных на памяти человечества. Вместе с тем вследствие определенных ассоциативных акцентов слово «кракатит» постепенно приобретает в романе и более широкий смысл,

Никольский Сергей Васильевич — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

становится метафорой разрушительных стихий, дремлющих и в природе, и в человеке, и в обществе и способных прорваться наружу, порождать катастрофы. Произведение превращается в притчу об этих стихиях, о связанных, упорядоченных и развязанных силах, антивоенный роман-предостережение приобретает философскую окраску. Второй смысловой план составляют аллюзии на конкретные политические круги, которые являются носителями тех или иных разрушительных тенденций в современной Европе. Имеется в виду прежде всего германский милитаризм. Прямо о нем не говорится. Но читатель догадывается, что похищенного Прокопа вывезли в Германию. Название военного комбината, где он очутился, — Балттин-Дортум — вызывает ассоциации с Балтикой и Дортмундом. Соседний полигон называется Балттин-Диккельн. Немецкими именами наделены в романе обитатели комбината и замка, в котором Прокоп находится на положении гостя-пленника: генеральный директор комбината, владелец замка — князь Хаген-Балттин, его поверенный Карсон, воспитатель княжны — Краффт, лакей Хольц и т. д. Правда, этот ряд косвенных индосказаний разработан в романе «Кракатит» сравнительно скромно. Гораздо богаче он будет представлен в вершинном произведении К. Чапека, созданном уже в 30-е годы, — в романе «Война с саламандрами».

Но особый интерес представляет третий смысловой план романа, связанный с потаенными аллюзиями на совершенно конкретные события и на конкретных лиц. В данном случае речь идет о событиях личной жизни Чапека. Во время работы над романом в его сознании все время витал маячивший образ Веры Грузовой (1900—1979), дочери профессора в городе Брно. Чапек познакомился с ней в одном из литературных салонов в конце 1920 г., когда она была студенткой последнего курса торговой академии в Праге. Особенно пылкие отношения связывали их в 1922—1923 гг. Позднее Вера сообщила ему в одном из писем, что выходит замуж, и притихшие было чувства вспыхнули с новой силой. Роман «Кракатит», написанный в эти годы, в некотором смысле представляет собой своеобразное любовное письмо автора Вере Грузовой, письмо-воспоминание, в котором автор еще раз переживал и заново творил свою любовь. Это своего рода послание любимой женщине, понятное в своем сокровенном значении только двум людям на свете — ему и ей. Была тщательно соблюдена конспирация, фамилия и имя Веры вообще не упоминались. Совершенно точный и не допускающий сомнений адресат был глубоко спрятан лишь в нескольких косвенных намеках, в частности, в анаграмме «Загур». Так называется в романе воображаемый волшебный замок, куда уносится мечтами княжна Вилли и влюбленный в нее Прокоп [1; 2, с. 349]. Название замка образовано путем перестановки букв в фамилии Веры: Zahur — Hgûz[ov]á. Тем самым автор давал понять, что в образе княжны он рисовал Веру. Не случайно и совпадение начальных звуков в именах, опять-таки старательно замаскированное: в отличие от чешского имени Вера, которое начинается с буквы «V», имя Вилли пишется в романе через «W». Наконец, еще один скрытый опознавательный знак. Воспитатель и телохранитель княжны носит имя «Краффт». Ясно, что в его имени заложено представление о силе (от немецкого die Kraft — сила), так же, как имя Вилли символизирует «волю» (от немецкого der Wille — воля) и т. д. (и некоторым другим героям романа автор дал значащие имена). Однако издатель и комментатор переписки Чапека с Грузовой Иржи Опелик задался вопросом, откуда взялось в фамилии Краффта второе «f», не соответствующее немецкому написанию этого слова. И дал ответ: когда Вера Грузова училась в Праге и жила на частной квартире, Чапек, посылая ей письма, должен был на конверте указывать и фамилию владельца квартиры: «у пана советника Краффра» [3]. Отсюда и переключалось в фамилию Краффта второе «f». Вновь намек, понятный только двоим.

Все эти намеки, особенно анаграмма «Загур», и служат сигналами иносказания. Наличие скрытого ключевого сигнала или системы сигналов, позволяющих читать тайный смысл образов, улавливать направление авторских ассоциаций — вообще отличительная черта поэтики произведений «с секретом». После того, как мы уловили такой сигнал, обнаруживается и сходство некоторых ситуаций (кстати, еще не отмеченные комментаторами) в жизни героини «Кракатита» и Веры Грузовой. Так, например, в романе к княжне Вилли сватается эрцгерцог, возможный наследник трона. Под влиянием вспыхнувшего чувства к плебею Прокопу она отказывает высокому претенденту на ее руку и сердце. Это обстоятельство находит аналогию и в биографии Грузовой: в начале 1921 г. она была помолвлена с дипломатом графом Франтишеком Боржеком Догальским, но через несколько месяцев расторгла помолвку, после чего возобновились ее общение и переписка с Чапеком. В обоих случаях, как мы видели, речь идет об отказе от престижного брака во имя истинного чувства.

Трудно сказать, рассчитывал ли Чапек, что сокровенный смысл романа станет когда-нибудь известен широкому кругу читателей. Такая возможность открылась только в наши дни, после того, как в 1980 г. были изданы его письма Вере Грузовой. Бережно сохранившая их, адресатка Чапека на старости лет разрешила опубликовать их. Знакомство с этой перепиской позволяет увидеть, что в той или иной степени аллюзионными являются в романе не только собственные имена и некоторые ситуации, но и черты внешности и характера главной героини. Как и у княжны, у Веры был смуглый оттенок кожи, она тоже увлекалась теннисом и верховой ездой (Чапек в письмах называл ее «амазонкой»). Вероятно, воспоминаниями были навеяны и некоторые глубоко интимные сцены романа. Любовь Чапека к Вере Грузовой, словно бабочка в янтаре, навсегда оказалась заключенной в этом произведении как его второй, потаенный смысл.

Таким образом, роман «Кракатит» представляет собой особый тип произведения, в котором в научно-фантастический вымысел вписано иносказание и даже несколько слоев иносказаний. По мере раскрытия разных смысловых пластов, взору исследователя предстает притча с философским оттенком, далее слои аллюзий на конкретные политические силы, наконец тайнопись о любви автора к Вере Грузовой. Конечно, в последнем случае играли роль совершенно особые, личные мотивы. Но в то же время нельзя не учитывать, что иносказание и само по себе обладает незаменяемыми художественными возможностями и придает особый колорит повествованию. Вообще существует своего рода закон, по которому необычно выраженная мысль или представление таят в себе особую прелесть и производят более сильное впечатление, чем высказывание, сделанное в прямой и привычной форме. Иносказание сильнее затрагивает мысль и чувство читателя, поскольку требует от него повышенной ответной активности, и он оказывается таким образом глубже вовлеченным в процесс сотворчества. Иносказание, ассоциативно-метафорическое письмо — своего рода разновидность отстранения, заставляющего воспринимать высказанное с особой остротой. Оно как бы интригует мысль и воображение.

Эффективность научно-фантастического вымысла, выступающего в союзе с возможностями иносказания и сатиры, особенно ярко подтверждает роман К. Чапека «Война с саламандрами» (1936). В этом глубоко гуманистическом произведении Чапек продолжил свои размышления над вопросом (поставленным им еще в драмах 20-х годов «R. U. R.» и «Средство Макропулоса»), что же делает человека человеком. В самой основе романа лежит принцип тропа: обезчеловечение человеческих отношений в современном мире изображается через картины бездуховной цивилизации человекоживотных, панорама которой создана с помощью научно-фантастического допущения. Перед читателем предстает как бы человечество с обратным

знаком, своего рода античеловечество, образ которого и соотнесен в сатирическом ключе с актуальной современностью. Развертыванию сюжета сопутствует поток разнообразных аналогий и аллюзий от юмористически-пародийных до гротескно-памфлетных. Они как бы вписаны в массив романа и адресованы теперь уже не одному человеку, посвященному в тайну, как это было в романе «Кракатит», а всем читателям. При этом вымышленная действительность напоминает читателю не только о знакомых явлениях, но и о реальных, достоверных событиях, процессах, фактах, людях и т. д.

Продолжается игра с именами. Путем контаминации фамилий французских поэтов Стефана Малларме и Поля Валери создано имя вымышленного поэта Поля Маллори, вдохновенного поклонника античности, к которой так равнодушны были и его французские прототипы. Имена двух знаменитых киноактрис Глории Свенсон и Мэри Пикфорд соединены в претенциозном названии яхты «Глория Пикфорд», на которой путешествует группа американской молодежи — в наименовании яхты без лишней скромности запечатлены честолюбивые мечты скудоумной «крошки Ли» «сделаться величайшей кинозвездой всех времен». Физиолог Петров, исследующий в романе рефлекс саламандр, — это, конечно же, И. П. Павлов. Инициалы «Э. Э. К.», которыми подписан красочный очерк журналиста, описывающего облаву на саламандр, позаимствованы у широко известного в те годы «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша.

Но с основной направленностью романа, естественно, связаны прежде всего крупные образы-символы, например, образ Шефа Саламандра, воплощающий обобщенное памфлетно-сатирическое представление о кровавых диктаторах всех типов и всевозможных претендентах на покорение мира. Вместе с тем, многозначный символ помещен здесь с конкретной персональной аллюзией, в данном случае подразумевающей Гитлера. Она заключена в собственном имени Шефа Саламандра, которое не только звучит по-немецки — его зовут Андреас Шульце, но и содержит прямой намек: инициалы совпадают с инициалами Адольфа Шикльгрубера. Напомним, что отец Гитлера, австрийский сапожник Алоиз Шикльгрубер уже в зрелом возрасте женился на дочери кельнера из Бухареста по фамилии Гитлер. Папенька невесты пообещал за ней большое приданое, но при условии, что зять примет фамилию жены: старому человеку, не имевшему других детей, хотелось, чтобы его фамилия не ушла из жизни вместе с ним (знай он, какого рода известность суждена была в дальнейшем его фамилии, возможно, он ужаснулся бы собственной просьбы). Шикльгрубер переменял фамилию, хотя получить приданое ему так и не удалось: тесть скончался, не успев написать завещание. А вскоре затем умерла и его дочь. Овдовевший Шикльгрубер, носивший уже новую фамилию, женился вторично, теперь на служанке своей покойной жены, Кларе Пельц, которая и стала матерью будущего фюрера. Первоначальная фамилия отца Гитлера в 30-е годы не составляла тайны для европейцев. Чапек мог быть уверен, что по крайней мере часть читателей поймет его не столь уж сложный памфлетный намек, тем более, что сделан он был в контексте широких и открытых аналогий между милитаризованной и агрессивной цивилизацией саламандр и миром германского фашизма. К тому же в романе упомянуто, что во время мировой войны Андреас Шульце «был где-то фельдфебелем» (Гитлер, как известно, в первую мировую войну служил ефрейтором). Короче, сделана дополнительная подсказка (подробнее см. [4]).

Приведем еще один пример. Развернутой аллюзией является глава «Вольф Мейнерт пишет свой труд», представляющая собой пародийную сатиру на немецкого философа Освальда Шпенглера (1880—1936). Последний утверждал, что жестокость, милитаризм и экспансия — якобы закономерные явления для последней («закатной») стадии развития каждой ци-

визуализации. В такую стадию, по мысли Шпенглера, в XX в. вступила и Западная Европа. Не вдаваясь в разбор и оценку концепции Шпенглера, содержащей весьма интересную в принципе постановку вопроса о стадийности развития цивилизаций и фиксирующей определенные черты кризисной эпохи в Европе, отметим, что Чапек увидел в ней оправдание бесчеловечности и саркастически высмеял ее в своем романе. («Война с саламандрами», кстати говоря, была написана еще при жизни Шпенглера.) На этот раз ключ к аллегории дан не в имени персонажа, а в названии книги Мейнерта. Главное философское сочинение Шпенглера (появившееся в 1918—1922 гг. и переизданное в Германии в начале 30-х годов) — двухтомный труд «Закат Европы» («Untergang des Abendslandes»). В романе Чапека прусский философ пишет книгу «Закат человечества» («Untergang des Menschheit»), в которой предлагает смириться с деградацией человеческого рода и принять как должное приближение эпохи, когда животное начало восторжествует над человеческим. Мысль о волчьем эгоизме подобных теорий запечатлена в романе в значащем имени философа: Вольф, от нем. der Wolf — волк, Мейнерт от нем. das Mein — моё.

Одна из особенностей построения романов Чапека «Фабрика Абсолюта» и «Война с саламандрами» состоит в том, что научно-фантастический сюжет в них перерастает в своеобразную социальную утопию и по мере развития социально-утопического процесса наполняется юмористическим и сатирическим содержанием. В этот процесс местами вставляются, как бы «пятнами», отдельные сатирические, пародийные и аллегорические картины, в которых читатель узнает не только модели тех или иных явлений современной жизни, но и зачастую очертания известных ему реальных событий, действительно имевшие место факты, реальных политических и культурных деятелей. Возникает целая градация иносказаний — от прозрачных, до более сложных, требующих интеллектуальной проницательности читателя.

В русской литературе типологическую параллель Чапеку в известном смысле составляет творчество Михаила Булгакова, отмеченное сходными чертами поэтики, также вырастающей из синтеза сатиры с философским началом, с иносказанием, с фантастикой и, в частности, с научной фантастикой и приключенческим жанром (Булгаков сам говорил, что «интерес к Салтыкову-Щедрину соединился» у него «с интересом к Куперу» [5, с. 678]). Известный советский литературовед В. В. Новиков, проанализировавший прозу Булгакова 20-х годов, с полным основанием пришел к выводу, что писатель «создал новое жанровое образование — жанр сатирической, научно-фантастической повести, сочетая в ней строгий реализм с фантазией ученого и придавая ситуациям и образам философский смысл („Роковые яйца“, „Собачье сердце“») [6].

У Чапека и Булгакова немало общего уже в проблематике их произведений, в их внимании к проблемам добра и зла, нравственных ценностей, гуманизма, в их размышлениях о путях прогресса, о революции и эволюции, о столкновении идеологических доктрин с реальностью жизни. Появление в творчестве обоих писателей образа псевдочеловека (роботы и саламандры у Чапека, Шариков у Булгакова) тесно связаны с осмыслением ими самой сущности человека, с раздумьями о морально-нравственных, духовных константах, которые и делают человека человеком. Афористически звучащие слова из повести «Собачье сердце» Булгакова о том, что говорить «это еще не значит быть человеком» [7, с. 206], как нельзя лучше выражают суть и таких произведений Чапека, как драмы «R. U. R.», «Средство Макропулоса», роман «Война с саламандрами». Кое в чем сходятся и частные особенности поэтики чешского и русского писателей, даже отдельные приемы. Как и Чапек, Булгаков любит, например, игру с собственными именами, любит обыгрывать их смысл или звучание, соз-

давать новые и новые комбинации составляющих их звуков или фрагментов. Любопытны в этом отношении и его псевдонимы: от инициалов «М. Б.» он образует шифр «Эм. Бе.», затем «Эмма Б.», из звуков имени и фамилии составляет собственные прозвища и псевдонимы «Мак», «Мака» [8] и т. д.

Разумеется, все черты сходства преломляются через глубокую самобытность и оригинальность обоих писателей. Использование научно-фантастического и аллюзионно-иносказательного элемента также имеет у каждого из них свои особенности. Чапек любит создавать нечто вроде образ-моделей тех или иных явлений и событий, своего рода их образно-рациональные конструкции. М. А. Булгаков скорее склонен к эластичному ассоциативному письму, хотя эти различия и не следует преувеличивать. Интересной темой исследования могло бы быть своеобразие иронии у каждого из них. Иногда разнится тип сюжетных построений. Так, в повести «Роковые яйца» (1924) Булгакова сам научно-фантастический сюжет, как мы убедимся дальше, повторяет на ассоциативном уровне рисунок определенных реальных событий, чего у Чапека мы не встретим.

Содержание повести сводится к следующему. Старый московский профессор-зоолог Персиков, работая с микроскопом в своей университетской лаборатории, обнаруживает особые свойства небольшого красного луча, который иногда возникает в микроскопе при его настройке. Случайно выясняется, что амёбы, попавшие в поле действия этого луча и пробывшие в нем более или менее длительное время, дают необычайную вспышку жизненной активности, становятся во много раз крупнее, начинают буквально на глазах стремительно расти и лавиноподобно размножаться. И к тому же передают эти свойства по наследству. Ассистент профессора, приват-доцент Иванов с помощью немецкой оптики создает аппаратуру для генерирования более мощного луча. Опыты, проведенные затем на лягушачьей икре, подтверждают эффект и даже превосходят все ожидания. Профессор решает испытать действие луча на пресмыкающихся и выписывает для этой цели из-за рубежа яйца змей и крокодилов, готовя одновременно меры предосторожности на случай возникновения опасных неожиданностей. Однако вскоре лучшую аппаратуру у него отбирают и передают в распоряжение директора одного из совхозов, где решили при помощи этих лучей выводить кур, поголовье которых только что погибло по всей стране в результате небывалого куриного мора. Яйца решено было выписать из-за границы. И вот при пересылке происходит роковая ошибка: в совхоз попадают ящики с яйцами, предназначенными для опытов профессора, а там их принимают за элитные, «заграничные» куриные яйца. Вместо кур в совхозном питомнике вывелись и стали стремительно размножаться гигантские удавы-анаконы, несметные полчища которых двинулись вскоре по направлению к Москве. Не помогли усилия частей Красной Армии, посланных на уничтожение необычного противника, бомбежки с аэропланов и т. д. В конце концов спасение пришло, когда на склоне августа неожиданно ударили небывалые для этого времени морозы, погубившие поголовье теплолюбивых пришельцев. Существуют, однако, сведения, что Булгаков читал вначале повесть в другом варианте, в котором «закключительная картина — мертвая Москва и огромный змей, обвившийся вокруг колокольни Ивана Великого». (Пересказ сюжета повести с этим финалом напечатан в берлинской газете «Дни» 6 января 1925 г. — цит. по: [9, с. 411].)

Повесть «Роковые яйца» — увлекательное научно-фантастическое произведение с остроумным сюжетом на тему об ошибке, порожденной профессиональной некомпетентностью и административно-бюрократическим своеволием и ставшей причиной непредвиденных экологических бедствий. «Местью бытия» за невежество и самонадеянное прожектерство назвал такой оборот событий один из советских критиков [10]. Произведение отмечено

но чертами приключенческого жанра, его отличает энергичный темп повествования, живописная образность, колоритные типажки, черты сатирического гротеска, юмор. Оно легко читается. И большинство читателей, по-видимому, даже не подозревает, что повесть насквозь пронизана косвенными, аллюзионными мотивами и ассоциациями. Это знаково напряженный текст, предполагающий многочисленные переносные осмысления.

И основной сюжет, и большая часть образов героев, и многие эпизоды, детали, подробности несут в себе помимо прямого еще и вторичный, скрытый смысл, ассоциативные аналогии, которые с известной долей гипотетичности мы и попытаемся раскрыть. В основе иносказательного построения лежит мотив красного луча, открытого московским профессором, но попавшего в другие руки и неосторожно использованного. Речь идет о послереволюционной советской действительности и о ведущих деятелях того времени — Ленине, Троцком, Сталине, Каменеве. Символика красного луча проходит через все произведение. Не случайно и название совхоза «Красный Луч» и повторяющиеся эпитеты «красные» или «малиновые» яйца и т. д.

Сюжетная коллизия, в центре которой стоит образ профессора Персикова, открывшего эффект красного луча и начавшего эксперименты с ним, не лишена в определенной мере ассоциаций с В. И. Лениным, хотя это, несомненно, совершенно иной человеческий, психологический и социальный тип. Нет ни малейшего сходства во внешнем облике, манерах, характере, интересах, поведении. Профессор Персиков чужд политике и даже принципиально не читает газет, считая, что «они чепуху какую-то пишут» [7, с. 74]. Он всецело погружен в науку, в которой является уникальным, непревзойденным в мире специалистом. Как и многие ученые, он чудаковат и рассеян. Авторы воспоминаний о Булгакове и исследователи его творчества (Н. Е. Белозерская, М. О. Чудакова, Б. С. Мягков) называют и конкретные прототипы этого образа. Среди них известные профессора Е. Н. Тарновский, А. Н. Северцев, А. И. Абрикосов (в данном случае обращается внимание и на сходство фамилий), И. П. Павлов и др. [5, с. 696; 11]. И вместе с тем на этот образ наложены ассоциации с событиями, имеющими отношение к В. И. Ленину, что обозначено в скрытом виде и в имени героя. Профессора зовут Владимир Ипатьевич Персиков. Прямого намека не содержит только фамилия. Имя и отчество — явный стимул для ассоциаций: Владимир Ипат[ь]евич (по ходу действия все время пишется даже «Владимир Ипатьч»). События повести отнесены к 1928 г. При этом сказано, что профессору в это время было ровно пятьдесят восемь лет. Следовательно, он родился в 1870 г. Это год рождения Ленина. Начало событий повести приходится на 16 апреля. Если перевести дату на старый стиль, это 3 апреля — день приезда Ленина из-за границы в Россию и возникновения Апрельских тезисов. Короче говоря, в ассоциативном слое повести резонирует действительность периода революции и начала 20-х годов. Ассоциации определенным образом ориентированы.

В свете сказанного дополнительный, переносный смысл приобретает и одна из узловых сцен произведения, в которой по секретному указанию из Кремля у профессора Персикова отбирают аппаратуру, генерирующую красный луч, и передают ее другому. Профессор был крайне удручен и возмущен, опасаясь, что его неосмотрительный приемник «черт знает что наделает» [7, с. 82, 89].

Элементами иносказания отмечены и образы других героев повести. Так, словоохотливый «репортер» Бронский («корреспондент» всех газет и журналов — «Красного Огонька», «Красного Перца», «Красного Журнала», «Красного Проектора», «Красной Вечерней Москвы» и «Красного Ворона»), крикливо и не без искажений (к великому раздражению профессора) сообщающий всему миру о красном луче (голос его все время

звучит и из радиорупоров), — это в определенной мере Л. Д. Троцкий. Он изображен под именем Альфреда Аркадьевича Бронского (полное имя и фамилия названы при первом же упоминании о нем — воспроизведена визитная карточка [7, с. 57]). Шифр читается, если приглядеться к совпадающим буквам в именах и фамилиях персонажа повести и прототипа. В имени Бронского (Альфред) содержатся инициалы Троцкого (Л... Д), в отчестве (Аркадьевич) последовательно воспроизведены три буквы его фамилии (р...к...и...). Не вызывает, естественно, сомнений переключка фамилии Бронского со второй фамилией Троцкого — Бронштейн. В целом криптограмма (если восстановить заглавные буквы) выглядит следующим образом: «...Л...е...Д...р...к...и...Брон...й...». Подставить недостающие буквы не составляет особого труда.

В повести использована и тема неоднозначного отношения Ленина к Троцкому. Профессор вроде бы со снисходительным любопытством слушает Бронского, отмечает его энергичность, находит, что «в нем есть что-то американское» [7, с. 72], но и возмущенно называет его «наглецом необыкновенного свойства» [7, с. 62], обвиняет в неумении говорить по-русски (ср., например, его фразу «Что вы думаете за кур?» [7, с. 72] или записку Бронского Персикову со сбитым синтаксисом [7, с. 57]). (В литературе о Булгакове уже высказывалось мнение, что в данном случае в тексте повести пародируется стиль Троцкого, у которого встречались небрежные фразы и даже заглавия типа «Борьба за культурность речи», «Кончик большого вопроса», «Не о „политике“ единой жив человек») [12].

Можно было бы раскрыть и ряд аллюзионных ситуаций. Так, например, после того, как у профессора была отобрана аппаратура для работы с красным лучом, а в его лаборатории под видом охраны поставлена стража, Бронскому, чтобы получить доступ к профессору, приходится окликать его с улицы через окно — явная реминисценция из истории недавней борьбы соперников в правящих верхах с их стремлением оттеснить друг друга от Ленина.

Второй посетитель профессора, второй «репортер», появляющийся каждый раз вслед за Бронским, — толстяк с круглым лицом и искусственной погой. Он заискивающе и слезливо жалуется профессору, что тот не уделяет ему должного внимания, предпочитая Бронского. Казалось бы, трудно заподозрить в этом персонаже намек на Сталина. Портрет его — прямая противоположность внешности реального гегсека. Однако приглядимся к характеристикам. Первая встреча обрисована, например, таким образом: «послышалось за дверью странное мерное скрипение машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громычала, и в руках он держал портфель. Его бритое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку» [7, с. 60]. Он «по-военному поклонился» и представился как «капитан дальнего плавания» и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совнарком. В следующей сцене упоминается, что «толстяк повис на рукаве профессора, как гирия» [7, с. 62]. Можно, конечно, предположить, что если «поклонился по-военному», значит когда-то имел отношение к армии, раз держит портфель, то, возможно, секретарь, но при чем все остальное? Ответ, думается, довольно прост. Случайно ли почти все определения здесь построены на ассоциации с металлом: «скрипение машины», «кованое постукивание», «механическая нога», «Вестник промышленности», «повис, как гирия» (далее уже просто будет упоминаться «механический человек»)? Подобные определения восходят к ассоциативной цепочке: металл — сталь — Сталин. Иносказание вновь привязано к фамилии, но на этот раз уже не к звуковому или буквенному ее составу, а к ее семантическому значению. В том же ассоциативном ряду, возможно,

находится и упоминание о слухе, пронесшемся в Москве, будто профессора «зарезали с детишками (т. е. со всем порожденным им. — С. Н.) на Малой Бронной» [7, с. 62]. С. Иoffe в статье «Тайнопись в „Собачем сердце“ Булгакова» [13] высказывает мнение, что ассоциации со Сталиным содержатся и в фамилии Чугункина в повести «Собачье сердце». Если это так, то она образована по тому же принципу.

Впрочем, в приведенных характеристиках отчасти сохраняется, по-видимому, и буквенная символика. Повторяющееся в виде субстантивированного постоянного эпитета слово «толстяк» содержит целых три буквы фамилии Сталина: с, т, л. Создается впечатление, что это слово, с одной стороны, маскирует тайнопись, уводя от внешнего портретного сходства, а, с другой — служит потаенным ее сигналом. Один раз в повести мимоходом, словно нечаянно, обронена и фамилия «капитана дальнего плавания». Описываются кадры «говорящей газеты» (их показывают на улице со светового экрана), в которых запечатлен профессор, садиющийся в сопровождении толстяка в машину: «Он, профессор, дробясь, и зеленая, и мигающая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле... Засим выскочила огненная надпись: „Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову“. И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди, — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал» [7, с. 65—66].

«Капитан дальнего плавания» это, конечно же, «кормчий» или образное определение далеко метящего человека, а фамилия Степанов, подобно слову «толстяк» содержит буквы фамилии Сталина. Их даже четыре: С, т, а, н. Со «Степановым», надо полагать, разговаривает профессор и по телефону, когда у него отбирают аппаратуру, а он звонит в Кремль, пытаясь опростоватыть решение, но с ним ведут беседу как с «малым ребенком» [7, с. 82, ср. также с. 79]. Кто был на другом конце провода, в авторском тексте не упомянуто, но оставлен едва заметный штришок-сигнал: в трубке «что-то постукивало». Вспомним металлическое «кованое постукивание» в сцене первого появления «капитана дальнего плавания». Не случайна и «левая механическая», громящая нога капитана — символика правой и левой стороны не раз встречается в произведениях Булгакова, как намек на политическую ориентацию. Того же происхождения, по-видимому, и такая подробность, как родинка на левом ухе у Сталина в пьесе Булгакова «Батум» (1939). В творческой истории этой пьесы, рассказывающей о молодом Сталине периода батумской демонстрации, можно найти и другие параллели к образу «капитана дальнего плавания». Достаточно сказать, что среди вариантов предполагаемого заглавия пьесы были, например: «Аргонавты», «Кормчий», «Юность штурмана», «Штурман вел корабль», «Юность рулевого» [14, с. 27]. Правда, самого слова «капитан» Булгаков на этот раз, кажется, предпочитал избегать: оно уже было однажды обыграно им.

История возникновения пьесы «Батум» достаточно сложна, чтобы изложить ее в двух словах. Поэтому на более подробной информацией отсылаем интересующихся к специальным работам А. Смелянского [14], М. Чудаковой [15], М. Петровского [16] и др. Скажем только об одном — в обстановке конца 30-х годов никто, естественно, не допускал и мысли, что готовящееся произведение — а о работе над пьесой стало широко известно — может оказаться чем-то иным, нежели прославлением Сталина и вкладом в его агиографию. Ведь не вызывало сомнений, что с пьесой будет знакомиться лично главный ее герой. И тем не менее Булгаков отважился и ухитрился написать и эту пьесу «двойными красками». Он не только соз-

дал историко-революционную драму, которая была своего рода напоминанием вождю, как сам он был гонимым и арестантом, но и вновь проложил текст потаенными литературными параллелями, аллюзиями, двусмысленными характеристиками. По понятным причинам на этот раз они были запрятаны еще глубже. В наши дни значительная часть из них уже раскрыта. А. М. Смелянский пишет: «Анализ ... показывает, что не только отдельные реплики или сцены были сомнительны с точки зрения литературного официоза 1939 г. ... Сомнительной и вызывающей была, по сути, вся пьеса... Сквозь внешнюю оболочку заурядной революционной драмы, сквозь ее штампы и околичности пробивался иной голос... пьеса не только далека от канонического жития вождя, но заключает в себе полупридушенный, зашифрованный, но от этого не менее отчаянный вызов насилию. Вызов, брошенный в самой немыслимой и даже непостижимой форме» [14, с. 46—47]. В репликах и протестах, обращенных против репрессий царского времени, проступали параллели к современности, да еще не в пользу последней. В тексте много и других скрытых ходов. М. Петровский убедительно показал, что Булгаков тонко провел через пьесу тему демона в обликах пророка и антихриста в образе Христа, а также еле заметно, но последовательно соотнес подспудно общие очертания сюжета с линией самозванца в пушкинском «Борисе Годунове» [16], что равнозначно уподоблению героя Гришке Отрепьеву (эту же параллель отмечал сербский исследователь М. Йованович в выступлении на юбилейной сессии, посвященной М. Булгакову, в ИМЛИ АН СССР 14 мая 1991 г.; см. о том же [17]).

Разумеется, в драме есть и романтически приподнятые сцены. Но и они написаны не без расчета на двусмысленные ассоциации зрителей. Так, в самом лучшем смысле слова патетичен эпизод в тюрьме, когда надзиратель ударяет узницу, а юноша Сталин из-за решетки поднимает голос протеста и по всей тюрьме, подобно набату, несутся негодующие возгласы «Женщину бьют!». Не забудем, однако, что эта благородная сцена ложилась в сознании зрителей на загадочную историю со смертью Н. С. Аллилуевой и на всевозможные слухи вокруг этого события, не говоря уже об ассоциациях с массовыми арестами в конце 30-х годов не только мужчин, но и женщин.

Пьеса не была допущена к постановке и публикации. Последовало прямое указание на этот счет из Кремля. Трудно сказать, разгадали там сразу же какие-то намеки, почувствовали что-то неладное или драма просто показалась недостаточно хвалебной. Так или иначе, существует явная преемственность между потаенным подтекстом этой пьесы и повестью «Роковые яйца», к которой мы и вернемся.

Образ четвертого героя повести, заведующего показательным совхозом «Красный Луч», которому по секретному распоряжению из Кремля, без согласования с профессором, была передана его аппаратура, носит более обобщенный характер, хотя и эти события, по-видимому, не лишены конкретных ассоциаций. На этот раз скорее всего с Л. Б. Каменевым — заместителем председателя Совнаркома и заместителем председателя Совета труда и обороны, набравшем тогда силу в политическом руководстве страны. Булгаков, видимо, полагал, что происходило это по уговору со Сталиным, в противовес Ленину. (Насколько это справедливо, судить историкам. Известно, что Каменев способствовал назначению Сталина генсеком и поддерживал его. Но известно также, что позднее, в 1925 г., на XIV съезде партии — правда, это было уже после появления повести Булгакова — он выступил против Сталина и культа вождя.) Полное имя Каменева — Лев Борисович Каменев-Розенфельд. В рукописном экземпляре булгаковской повести директор совхоза носит имя Семена Борисовича Рока [9, с. 411]. Не исключено, что фамилия и состоит из печальных

букв двойной фамилии Каменева: Ро[зенфельд] К[аменев]. Фрагмент его фамилии «мен» сохранен также в имени персонажа: Семен. Отчество (Борисович) вообще было оставлено без изменений. Похоже, что Булгаков и здесь следовал реальному ходу событий, сигнализируя об этом скрытыми аллюзиями на имена. Однако перед публикацией повести автор, вероятно, решил придать образу большую степень обобщенности: появился несколько иной вариант: Александр Семенович Рокк.

Конечно, было бы вообще неправомерным упрощением сводить содержание повести к персональным аллюзиям. В ней затронуты гораздо более глубокие и общезначимые, даже вневременные проблемы — таланта и власти, поведения, основанного на знании и на своеобразии. Автора глубоко волновал вопрос о границах допустимого вторжения в естественный ход вещей, о многомерности бытия и нередкой опрометчивой и фанатичной узости доктрин и программ. Булгаков принципиально не принимал насильственного разрешения общественных противоречий и предпочитал вооруженной революции «Великую Эволюцию». Не случайно в повести не раз встречается сравнение красного луча, открытого Персиковым, с мечом, а также подчеркивается, что луч этот был получен от искусственного, а не естественного света. Интереснейший аспект повести — проблема столкновения идей и действительности, проблема вмешательства в человеческие планы и действия непредвиденных и непредсказуемых обстоятельств, смещающих и искажающих ожидаемые результаты (та же коллизия, по сути дела, и в «Собачьем сердце» и в романе «Мастер и Маргарита»).

Над очень близкими проблемами раздумывал, кстати говоря, и Карел Чапек, особенно в драмах «R.U.R.» и «Адам-творец» (написанной им совместно с братом). Подобно Булгакову он призывал к осторожности в обращении с радикальными средствами: «Ведь революция, диктатура и как там еще все это называется, — это никакие не идеалы и не программы, это в крайнем случае инструменты для достижения целей, но отнюдь не сами цели. Инструменты это не предмет убеждений и веры, а предмет выбора в зависимости от их пригодности. Они могут быть грубее или тоньше в зависимости от интеллигентности тех, кто их готовит. Я лично питаю недоверие к грубым инструментам — их может использовать кто-то другой для иных целей. Не путайте радикальность целей с радикальностью инструмента» [18].

В задачи настоящей статьи не входит полный анализ повести Булгакова и ее поэтики. Что касается последней, то мы далеко не исчерпали символики многих собственных имен и названий (едва ли, например, случайно в повести подчеркивается, что красный луч был открыт на улице Герцена — символ одного из возможных вариантов исторического пути и одной из линий развития общественно-политической мысли России; поселки Грачевка и Концовка подозрительно напоминают по названию Горки и Кунцево и т. д.). Можно было бы продолжить раскрытие аллюзий в фамилиях, упоминающихся в повести (так в Емельяне Ивановиче Португалове нетрудно узнать организатора движения воинствующих безбожников Емельяна Ярославского; журналист Колечкин вызывает ассоциации с Михаилом Кольцовым и т. д.). Представляет интерес символика цвета. В повести, например, совсем нет синего, голубого, оранжевого цвета, но часто встречается красный и малиновый (о чем уже шла речь), серый (скорее всего символ серости, бескультурия, необразованности, казармы, злости), зеленый (по-видимому, символ канцелярского сукна, бюрократии), некоторые другие. Заслуживает внимания символика предметов, зданий (храм Христа Спасителя). Правда, все это в той или иной степени уже частные вопросы, хотя анализ их и может пролить дополнительный свет на многие аспекты содержания и поэтики повести.

Между тем необходимо сказать о некоторых общих чертах, роднящих поэтику Чапека и Булгакова. К ним относится прежде всего двуплановость художественного построения. Повествование «работает» одновременно и на последовательное развертывание научно-фантастического сюжета и на создание «второго» изображения, которое местами как бы вырисовывается за первым, и мерцает сквозь него. Так, в повести «Роковые лица» сцены, посвященные истории с массовой гибелью кур, составляют важное звено в развитии действия на научно-фантастическом уровне — мотивируется возникновение идеи использовать свойства волшебного луча для того, чтобы «возродить в течение месяца кур в республике» [7, с. 92]. Но одновременно эти сцены являются замаскированной картиной гонений на православную церковь, репрессий против высшего духовенства. Само название главы «Куриная история» [7, с. 92] заключает в себе игру слов, связанную с понятием «курии» (лат.), т. е. совокупности центральных учреждений церковной власти (при папском престоле). Отсюда изображенные события и происходят в «заштатном городке, бывшем Троицке (намек на Троицкое подворье в Москве, где находился патриарший дом. — С. Н.), а ныне Стекловке (намек на Ю. М. Стеклова, члена ВЦИК и редактора газеты «Известия», опубликовавшей 28 марта 1922 г. обвинительный список церковных деятелей, первым среди которых шел патриарх Тихон, арестованный тогда же, а затем высланный в Донской монастырь и остававшийся практически и дальше под домашним арестом. — С. Н.), Костромской губернии (намек на митрополита Костромского Серафима, подписавшего в июле 1922 г. «Меморандум трех» с признанием в качестве «единственной канонической законной церковной власти» нового, «обновленческого» Высшего церковного управления, созданного под наблюдением политических властей и пытавшегося лишить патриарха Тихона его сана и звания. — С. Н.) ... на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице» [7, с. 63]. Отсюда же упоминания об «отце протоирее, скончавшемся от антирелигиозных огорчений» [7, с. 62], и об отце Сергии [7, с. 64], которого теперь приглашают отиравлять молебны (намек на митрополита Владимирского Сергия, также подписавшего «Меморандум трех»). Того же рода упоминания об «антикуриных (т. е. антикурийных. — С. Н.) прививках» [9, с. 210]. в Лефортовском ветеринарном институте (т. е. в Лефортовской тюрьме) [7, с. 77] и о «самарских заградительных отрядах» [7, с. 77] и т. д.

Разумеется, далеко не каждая образная деталь ложится сразу в оба смысла. Иначе перед нами было бы не художественное произведение, а топчая, рассудочная схема-шифровка. Между тем, Булгаков, как и Чапек, владеет искусством не только интеллектуальной игры, но и яркого, пластичного изображения, и одно неотделимо от другого. Сохраняется предметная конкретность, живописная полнота воплощения сюжета. Иначе говоря, полной жизнью живет и развивается научно-фантастическое действие, но вокруг него все время возникают, так сказать, аллюзионно-ассоциативные наплывы. Гибель кур на дворе осиротевшей попадьи нарисована кистью яркого бытописателя, и вместе с тем в картине заключено развернутое иносказание. Нечто подобное мы видим и у Чапека — созданная авторской фантазией княжна Вилли и стоящая за этим образом реальная Вера Грузова, воображаемый кенигсбергский профессор и реальный Освальд Шпенглер и т. д. Главное заключается в том, что в вымысел проецируются не только те или иные жизненные явления, тенденции, человеческие типы и характеры (как это бывает во всех, в том числе социально-фантастических произведениях), но и действительно имевшие место события, факты, реальные люди, причем читатель должен узнавать их, должен ощущать «вкус» угадывания. В данном случае это одно из «правил игры». Когда в «Войне с саламандрами» заходит речь о том, что использо-

вание дрессированных морских саламандр для прибрежных работ открывает перспективу строительства «новых Атлантид», то описываются конкретные проекты. «Почти каждый день появлялись на свет гигантские проекты. Итальянские инженеры предлагали, с одной стороны, построить „Великую Италию“, охватывающую почти все пространство Средиземного моря (между Триполи, Балеарскими и Додеканесскими островами), а с другой — создать на восток от Итальянского Сомали новый континент, так называемую Лемурию, которая со временем покрыла бы весь Индийский океан. Япония разработала и отчасти осуществила проект устройства нового большого острова на месте Марианских островов, а также собиралась соединить Каролинские и Маршалльские острова, заранее наименованные „Новый Ниппон“ (далее называются германские проекты. — С. Н.)» [2, с. 562—563]. Читатель узнает в этих проектах карту территориальных притязаний самых агрессивных в 30-е годы государств. Надо сказать, что включение «факта» в художественный вымысел вообще характерная и, пожалуй, даже нарастающая тенденция в литературе XX в. Однако ассоциации с «фактом», вписанные в вымысел, — это только один полюс поэтики Булгакова, как и Чапека, второй ее полюс — философская обобщенность, возведение «казуса» к общим проблемам человеческого бытия.

Одна из индивидуальных особенностей поэтики Булгакова заключается в том, что он подчас создает образ, по каким-то параметрам и на каком-то уровне совершенно не похожий на объект аллюзии, в чем-то даже противоположный ему, и тем не менее на другом уровне, в другой плоскости, несущий в себе соответствующие ассоциации. У него можно также встретить в одном образе аллюзию на двух лиц, причем одна из них может выполнять одновременно отвлекающую функцию. В литературе о Булгакове [5, с. 698] существует, например, утверждение, что прототипом образа человека с железной ногой послужил вполне реальный корреспондент, которого писатель встречал, когда работал в газете «Гудок». Как вспоминает К. Г. Паустовский, в редакции «Гудка», в комнате, где сидел Булгаков, нередко появлялся «старый и хрипучий халтурщик-репортер по прозвищу капитан Чугунная Нога. У него действительно была искусственная железная ступня» [19]. В описанном человеке столько общего с персонажем повести Булгакова, что по сути дела невозможно отрицать существующую здесь связь. И вместе с тем практически не вызывает сомнений и рассмотренный выше аллюзионный аспект образа. Возникло нечто вроде контаминации двух аллюзий, точнее говоря, реальные черты и имя (в данном случае — прозвище) одного человека стали носителем образной аллюзии на другого. Иногда, особенно в романе «Мастер и Маргарита», образ у Булгакова вообще как бы оказывается сотканным из ассоциаций с разными реальными людьми. Интересные наблюдения на этот счет содержатся в работе Б. М. Гаспарова [20]. С другой стороны, встречаются случаи, когда ассоциации с одним и тем же лицом содержатся у него в образах разных персонажей, одновременно выступающих в произведении.

По-особому в художественной системе описанного типа выглядит проблема пространства и времени. Собственно говоря, здесь два мысленно соотносенных хронотопа. Читатель все время оказывается то в одном, то в другом измерении — воображаемом и реальном. При этом время и пространство здесь могут расширяться и сужаться, переходить одно в другое и т. д. Если в прямом значении «Красный Луч» — это конкретный, хотя и воображаемый, совхоз с речкой, ивами и лугами (где и разыгрывается драма жены Рокка, на которую напал гигантский змей), то во втором пространстве это уже целая страна. Иногда материальные вещи, имеющие в прямом значении предметно-пространственные характеристики, могут в ассоциативном плане означать определенные общественные явления и собы-

тия: левая калоша, на которую рассеянный профессор пытается надеть правую, а она у него не лезет — это, вероятно, и намек на военный коммунизм, а правая калоша, на которую не удается надеть левую, и он рассеянно несет ее в руке, не зная, куда ее деть, — это, по-видимому, нэп [7, с. 52]. (Поясним, что в числе любимых произведений Булгакова была сказка Х. К. Андерсена «Калоши счастья» — о волшебных калошах, с помощью которых можно мгновенно перенестись в любую эпоху, в страну мечты и счастья. Позднее, в 1939 г., Булгаков собирался даже написать либретто балета на тему этой сказки, отзвуки которой можно уловить и в романе «Мастер и Маргарита»). «Скрипение машины», которое доносится из-за окна, — это в переносном смысле скрипение государственно-бюрократической машины и т. д. Такого рода метамарфозы и двойные значения — один из элементов поэтики произведений подобного типа и одновременно одна из особенностей «поэтики» их чтения и восприятия.

Булгаков сам оставил косвенное свидетельство о наличии в его повести «дерзких» мотивов. В ночь на 28 декабря 1924 г. он записал в дневнике: «Вечером у Никитиной читал свою повесть „Роковые яйца“. Когда шел туда — ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон или дерзость? А может быть серьезное? Тогда не выпеченное... Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги «в места не столь отдаленные». Очень помогает мне от этих мыслей моя жена» [21]. Научно-фантастическое содержание повести само по себе, естественно, не давало ни малейших оснований для подобных опасений.

Разработка описанной художественной формы — заметное явление в литературе XX в. Разумеется, иносказательно-аллюзионное повествование и тайнопись встречались и раньше (яркие примеры — Джонатан Свифт или Салтыков-Щедрин, которого так любил Булгаков), но соединившись с научной фантастикой, они дали во многом новый, оригинальный сплав, новое качество.

Несомненно, такая художественная система порождена не только цензурными и политическими условиями, хотя последние и играли очень важную, иногда главную роль в ее возникновении и развитии и невольно способствовали поискам новых и новых приемов иносказания, аллегории, тайнописи, обогащению системы знаков, разновидностей познавательных сигналов и т. д. Но эта форма обладает, как уже говорилось, и своими специфическими и незаменимыми художественными возможностями, своими средствами воздействия на читателя, активизации его мысли и воображения. Уже сама по себе научно-фантастическая гипотеза способна по-настоящему захватить читателя. В свою очередь чтение-разгадывание, чтение-узнавание побуждает его с особой активностью осваивать (в поисках скрытого смысла) получаемую образную информацию, мысленно сопоставлять и перекомпоновывать ее, перебирать и создавать новые и новые возможные версии, благодаря чему через его сознание одновременно проходят как бы целые «пучки» коннотационно-смысловых вариантов, потенциально-заключенных, а отчасти даже и не заключенных в тексте. Благодаря этому увеличивается сама емкость и интенсивность творческого процесса чтения. Ну и, наконец, описанный тип произведения, естественно, является очень активным видом реакции на жизнь, вторжения в нее, осмысления и оценки не только тех или иных ее явлений, но и конкретных событий, деятельности реальных, подлинных лиц и т. д. Разумеется, вместе с тем, что направленность и объективность оценок здесь во многом зависят от позиции писателя, от его пронизательности или же, наоборот, его заблуждений в понимании происходящего. Чапек, например, в «Войне с саламандрами» явно выделял «джентльменскую», по его мнению, политику Великобритании в международной обстановке 30-х годов. По иронии судьбы всего два года спустя именно английские политические деятели,

конкретно Чемберлен, сыграли роковую роль в подписании печально известного Мюнхенского соглашения, отдавшего Чехословакию на растерзание Гитлеру (о чем писал и говорил потом и сам автор «Войны с саламандрами»). Реальное поведение английских политиков как небо от земли отличалось от изображенного Чапеком в его романе. Не все, вероятно, полностью согласится и с повестью Булгакова. Но в любом случае нельзя не отдать должное протесту писателя против насилия и террора, против опрометчивой игры судьбами страны и народа, как и его искусству на редкость яркого художника.

Эффективность описанной художественной системы в свою очередь подтверждается и обращением к ней других писателей, в том числе в наши дни. Вряд ли, например, без научно-фантастических мотивировок и развернутого иносказания можно было создать такой мощный и емкий философско-иронический образ человечества, пораженного синдромом ненависти и раздраемого враждой, какой мы находим в новом романе Леонида Леонова «Мирозданье по Дымкову», впечатляющие главы которого появились в последние годы в печати (см. особенно главу «Спираль» [22]). Однако анализ подобных произведений последнего времени требовал бы специального исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sapek K.* Krakatit. Praha, 1972, s. 64.
2. *Чапек К.* Собрание сочинений в 7-и т. Т. 2. М., 1975.
3. *Opelík J.* — In.: Karel Sapek Věře Hřůzové. Dopisy ze zasůvku. Praha, 1980, s. 196.
4. *Никольский С. В.* Карел Чапек — фантаст и сатирик. М., 1973, с. 340—344.
5. *Гудкова В. В.* Повести Михаила Булгакова. — В кн.: *Булгаков М. А.* Собрание сочинений в 5-и т. Т. 2. М., 1989, с. 678.
6. *Новиков В. В.* Ранняя проза М. Булгакова. — В кн.: *Булгаков М. А.* Повести. Рассказы. Фельетоны. М., 1988, с. 19.
7. *Булгаков М. А.* Собрание сочинений в 5-и т. Т. 2. М., 1989.
8. *Белозерская-Булгакова Л. Е.* Воспоминания. М., 1989, с. 95—96.
9. *Чудакова М. О.* Послесловие (из биографии писателя и творческой истории его сочинений). — В кн.: *Булгаков М.* Рассказы. Повести. Минск, 1988, с. 411.
10. *Лакшин В. Я.* Мир Михаила Булгакова. — В кн.: *Булгаков М. А.* Собрание сочинений в 5-и т. Т. 1. М., 1989, с. 38.
11. *Чудакова М. О.* Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988.
12. *Кубарева А.* Михаил Булгаков и его критики. — Молодая гвардия, 1988, № 5, с. 251.
13. *Йоффе С.* Тайнопись в «Собачьем сердце» Булгакова. — Слово, 1991, № 1, с. 18—23 (перепечатка из «Нового журнала», выходящего в Нью-Йорке на русском языке, 1987).
14. *Смелянский А. М.* Уход (Булгаков, Сталин, «Батум»). М., 1988.
15. *Чудакова М. О.* Первая и последняя попытка (пьеса М. Булгакова о Сталине). — Современная драматургия, 1988, № 5, с. 204—220.
16. *Петровский М.* Дело о «Батуме». — Театр, 1990, № 2, с. 161—168.
17. *Лосев В.* Тайнопись Михаила Булгакова. (Беседа с журналистом А. Тимофеевым.) — Литературная Россия, 1991, 5 VII, с. 14—16.
18. *Sapek K.* Zoon politikon. Praha, 1932, s. 137.
19. *Паустовский К. Г.* Собрание сочинений в 9-и т. Т. 5. М., 1982, с. 412.
20. *Гаспаров Б. М.* Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». — Даугава, 1988, № 10—12; 1989, № 1.
21. Дневники Михаила Булгакова. — Театр, 1990, № 2, с. 155.
22. *Леонов Л. М.* Спираль. — Правда, 1987, 19 II, с. 6.



СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА КАК НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретические, методологические и понятийно-терминологические вопросы, связанные со статусом двух формирующихся научных дисциплин — сопоставительной (конфронтативной, контрастивной) лингвистики и теории перевода (переводоведения), представляют собой комплекс лингвистических и филологических проблем. В настоящей работе будут рассмотрены лишь некоторые аспекты указанной проблематики, в частности следующие вопросы:

1. О соотношении сопоставительной лингвистики и других методов исследования двух или нескольких языков;
2. О характере различий между понятиями и терминами *конфронтативная лингвистика, грамматика, фронтативный анализ* и *контрастивная лингвистика, грамматика, контрастивный анализ*;
3. О соотношении сопоставительной лингвистики и теории перевода с точки зрения объекта и методов исследования.

При параллельном исследовании двух или нескольких языков применяются следующие подходы: сравнительно-исторический, сопоставительный (конфронтативный, контрастивный) и типологический. При этом методе *с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к о г о* анализа используется при изучении генетически близких языков — индоевропейских языков и отдельных групп родственных языков, в частности славянских, а также других языковых семей или при реконструкции праиндоевропейских (праславянских и т. п.) языковых форм, относительно недавно он стал применяться и при изучении иностратических языков. Однако, как правило, этот метод не используется для сравнительно-исторического исследования двух отдельно взятых родственных языков. Например, не существует сравнительной грамматики русского и сербского языков — ни в виде монографического исследования, ни как особая область лингвистической науки¹.

Метод *с о п о с т а в и т е л ь н о г о* анализа, наоборот, обычно применяется при синхронном исследовании двух языков независимо от того, являются ли они в той или иной степени родственными. С помощью сопоставительного метода можно исследовать и различные этапы развития того или иного языка, например, древнерусского языка XII в. и современ-

Мароевич Радмило — д-р филол. наук, ординарный профессор Белградского университета.

¹ В то же время сравнительную грамматику русского и украинского языков представляет собой университетский учебник [1].

менного сербского языка, но и в этом случае следует рассматривать соответствующий синхронный срез в историческом развитии языка. Впрочем, сопоставительные исследования обычно сводятся к описанию случаев совпадения, близости и несовпадения, различий (или же только различий), зафиксированных при анализе двух языков в плане синхронии — без объяснения причин возникновения этих различий и их типологического значения.

Третий метод, метод типологического анализа, закреплен за исследованиями генетически, культурно-исторически и структурно далеких языков; что же касается исследования сербского языка в сопоставлении с другими языками, особенно близкородственными славянскими, то этот метод не имеет значительной традиции².

Мы исходим из того, что существенные типологические различия между родственными языками, рассматриваемые на современном синхронном срезе, можно адекватно описать и объяснить при использовании всех трех дополняющих друг друга методов: сравнительно-исторического, сопоставительного и типологического. Другими словами, исходя из современного уровня развития лингвистической науки, все увереннее можно говорить о едином, комплексном методе анализа двух или нескольких родственных языков — о сравнительно-исторически-сопоставительно-типологическом методе.

Применительно к синхронному описанию двух (или более) языков в научном обиходе югославской теоретической и прикладной лингвистики имеются два термина: *контрастивный* и *конфронтативный* (или *конфронтационный*) метод, соответственно, *контрастивная* и *конфронтативная грамматика*, *контрастивный* и *конфронтативный анализ* и т. п. Возникает вопрос: являются ли эти два термина синонимами, или же между ними можно обнаружить существенные теоретические и методологические различия?

Термин *контрастивный* метод используют преимущественно югославские специалисты по английскому и другим неславянским языкам, а термин *конфронтативный* (или *конфронтационный*) метод распространен главным образом среди славистов, в том числе сербистов. В этом заключается первое (практически и основное) различие в употреблении указанных терминов.

Термин *контрастивный* англоязычного происхождения. В английском языке прилагательное *contrastive* словообразовательно-семантически мотивировано существительным *contrast* 'контраст, противопоставление', которое в свою очередь словообразовательно-семантически связано с глаголом *to contrast* 'противопоставлять, контрастировать, находиться в контрасте' (словарные значения приводятся по словарю Бенсона [3])³. Сразу же бросается в глаза то, что существительное *contrast*, которое мотивировано прилагательное *contrastive*, в английском языке значительно шире по значению, чем сербское *контраст*. Семантический диапазон английского слова более полно передан в «Большом англо-русском словаре»: *contrast* I 'контраст, различие; противоположность; противопоставление, сопоставление'; *contrast* II 'сопоставлять, сравнивать, противопоставлять' [5]. Таким образом, в лексико-семантической системе английского языка указанное слово легко может быть использовано в качестве семантической базы для формирования терминологического значения, указывающего на определенный метод лингвистического анализа. Этого нельзя сказать о сербском языке, в котором *контраст* выступает

² Опыт типологии русского и сербского языков представлен в [2].

³ В «Толковом словаре современного английского языка для продвинутого этапа изучения» А. С. Хорнби выделяет два значения глагола *contrast*: 1) сравнивать с целью выявления различий; 2) обнаруживать различия при сравнении [4].

в более узком значении, описанном в «Словаре» Матицы сербской как 'резко выраженное противопоставление, выделение' [6], что семантически детерминирует также производные глагольные и адъективные слова. Из этого можно сделать вывод, что в лексико-семантической системе сербского языка термины *контрастирати* (контрастировать) и *контрастиван* (контрастивный), словообразовательно-семантически мотивированные существительным *контраст*, вряд ли могут быть использованы для обозначения такого типа лингвистического анализа, которых охватывает не только исследование «резких различий и противоположностей», т. е. типологически релевантных различий, но и выявлением совпадающих или схожих черт, а также различий при формальном совпадении и сходства при формальном расхождении между двумя (или более) языками.

Термин *конфронтативный* (вариант *конфронтационный*) восходит к чешской лингвистической школе. В чешском языке прилагательное *konfrontační* (в словосочетаниях типа *konfrontační metoda*) в значении 'сопоставительный' словообразовательно-семантически мотивировано существительным *konfrontace* в терминологическом значении (*konfrontace jazyků*), а существительное *konfrontace* находится в словообразовательно-семантической связи с глаголом *konfrontovat* 'сопоставлять/сопоставить' [7].

В русском языке в лингвистическом обиходе распространен термин *сопоставительный* (или *структурно-сопоставительный*) *метод*, который служит адекватным обозначением соответствующего метода лингвистического анализа, а кроме того удачно соотносится с термином *сравнительный* (или *сравнительно-исторический*) *метод*. Термины *контрастивный* и *конфронтационный* (*конфронтативный*) встречаются очень редко ⁴.

Введение в научный обиход термина *контрастивни метод* в сербском языке было мотивировано необходимостью разграничения понятий *компаративна лингвистика* (сравнительно-историческое языкознание) и *контрастивна лингвистика* (сопоставительное языкознание), *компаративна анализа* (сравнительный анализ) и *контрастивна анализа* (сопоставительный анализ), причем сравнительный анализ направлен на выявление генетических связей между родственными языками, а контрастивный (сопоставительный) анализ направлен на сопоставление соотносительных элементов разных языков, без учета степени их генетического родства [9; 10]. При этом была упущена из виду семантическая неадекватность термина *контрастивни* в сербском языке относительно исходного термина *contrastive* в английском языке.

Вслед за аргументацией, предложенной загребским лингвистом (специалистом по английскому языку) Рудольфом Филиповичем в связи с разграничением понятий *компаративна лингвистика* — *контрастивна лингвистика*, с попыткой терминологической дифференциации терминов *контрастивни* — *конфронтативни* выступил белградский русист Богдан Терзич. Если контрастивная лингвистика занимается исследованием генетически далеких языков, то конфронтативная лингвистика изучает близкородственные языки. Б. Терзич приходит к выводу о том, что русскому термину сопоставительный метод и чешскому термину *konfrontační studium* в сербском языке наиболее адекватно соответствует термин *конфронтативни метод* или *конфронтативне студије*. Под понятием *конфронтативный метод* автор подразумевает «прежде всего синхронный подход к изучению двух или нескольких языковых систем, главным образом, генетически близких» [11].

⁴ В последнее время усиливается некритическое использование термина *контрастивная лингвистика* в советском языкознании (см. [8]).

Предложенную Б. Терзичем трактовку понятий *контрастивная лингвистика* — *конфронтативная лингвистика* подвергла критике русист Антица Менац, которая принадлежит к загребской лингвистической школе. Ее основной вывод таков: если родственные языки «изучаются в плане синхронии, причем элементы их структуры сопоставляются друг с другом с целью выявления сходства и различий, то такое исследование относится к компетенции контрастивной лингвистики и по научной методологии не отличается от контрастивного исследования генетически неродственных языков». Автор справедливо указывает, что между родственными и неродственными языками вообще трудно провести четкую границу [12].

Представляется более целесообразным проводить разграничение терминов *контрастивный* — *конфронтативный* не с точки зрения степени генетической близости исследуемых языков, а с точки зрения методологических подходов к их изучению. В структурно-синхронных сопоставительных исследованиях двух языков рассматриваются параллельно и сопоставляются их языковые подсистемы (фонологическая, грамматическая, лексико-семантическая) причем анализу подвергаются не только «резкие отличия и противоположности» между языками, но обнаруживаются также и различия между явлениями, которые формально или семантически идентичны или схожи, а между различными на первый взгляд явлениями устанавливается типологическое сходство. Такое направление теоретической лингвистики наиболее адекватно можно обозначить в русском языке термином *сопоставительный* (или *структурно-сопоставительный*) метод, в других же славянских языках — термин *конфронтативный метод* (в чешском *konfrontační metoda*, в сербском *konfrontativni metod*). Методологически неоправдано заранее исходить из того, что те или иные явления в двух языках одинаковы или абсолютно различны: более детальное и углубленное исследование обнаруживает часто, что подобные явления просто были недостаточно изучены. Термин *контрастивный метод* — если принять во внимание более узкое семантическое поле мотивирующего слова *контраст* в славянских языках («резкая противоположность» по словарю Ожегова) — не передает специфику подобного лингвистического анализа (еще раз подчеркнем: особенно применительно к родственным языкам, но и не только к ним). Вместе с тем термины *контрастивный анализ* и *контрастивный метод* вполне отвечают задачам прикладной лингвистики и методики преподавания иностранных языков: в практике преподавания, в учебниках и учебных пособиях методологически (и методически) может быть оправдано указание на релевантные формальные и семантические различия между родным языком и иностранным (при этом менее важными различиями, а также случаями сходства и совпадения на данном этапе изучения языка можно пренебречь). С этой точки зрения термин *контрастивный метод* в методике преподавания и прикладной лингвистике сопоставим с бытовавшим в свое время термином *дифференциальный метод*.

Сопоставительная лингвистика и теория перевода — родственные лингвистические дисциплины, и та и другая находятся в процессе формирования и выработки собственной теоретико-методологической базы, в связи с чем можно поставить вопрос о том, как они соотносятся друг с другом.

Советский лингвист Л. С. Бархударов сделал попытку определить объем и задачи этих дисциплин с лингвистической точки зрения: «Для перевода основным является адекватная передача содержания, выраженного средствами одного языка, при помощи средств другого языка: стало быть, сопоставление языковых единиц в теории перевода может производиться только на основе общности выражаемого

и м и с о д е р ж а н и я, иными словами — на основе семантической или смысловой общности данных единиц... Для теории перевода совершенно не играет роли принадлежность сопоставляемых единиц к одному и тому же аспекту или уровню языковой системы (например, лексическому, грамматическому и пр.) — соображение, непреломное для структурно-сопоставительного изучения языков» [13]. Еще отчетливее эта мысль сформулирована в монографии того же автора «Язык и перевод». По мнению Л. С. Бархударова, сопоставительная лингвистика изучает совпадающие и несовпадающие элементы двух языковых систем в рамках того или иного уровня языковой иерархии (фонологического, морфологического, синтаксического, лексико-семантического), а теория перевода занимается сопоставлением языковых единиц не в контексте языковой системы, а в контексте конкретных речевых произведений, т. е. текстов на основе смысловой тождественности этих единиц и безотносительно к принадлежности к тому или иному уровню языка. Таким образом теория перевода устанавливает, что некоторые значения в одном языке выражаются с помощью грамматических средств, а в другом языке — лексическими средствами. В этом смысле теорию перевода можно рассматривать как сопоставительную лингвистику текста [14] ⁵.

Предложенную Бархударовым трактовку различия между сопоставительной лингвистикой и теорией перевода дополнил (внеся известные коррективы) А. Д. Швейцер. Он приходит к следующему выводу: «Если грамматика, сопоставляя различные конструкции, отвлекается от лексических значений входящих в их состав слов, то теория перевода рассматривает и то и другое в тесном и неразрывном единстве». И далее: «Поэтому теория перевода фактически сопоставляет не грамматические формы как таковые, а наиболее типичные контексты, в которых грамматические и лексические значения тесно переплетаются» [16]. В другой своей статье Швейцер указывает, что в теории перевода отношения эквивалентности устанавливаются не непосредственно между знаком языка оригинала и знаком языка перевода, а между знаком языка оригинала + контекст и знаком языка перевода + контекст, т. е. между соответствующими речевыми произведениями [17].

В монографии А. В. Федорова «Очерки общей и сопоставительной стилистики» концепция Бархударова критически рассматривается с иных позиций. Автор монографии считает, что границы между объектом и задачами теории перевода, с одной стороны, и сопоставительной лингвистики, с другой, — в том виде, как они сформулированы Бархударовым, исчезнут, если расширить круг сопоставительных лингвистических дисциплин за счет введения сопоставительной стилистики: «Но стоит только ... ввести в круг сопоставительного изучения языков и сопоставительную стилистику, как разграничение с теорией перевода отпадет и границы сотрутся. Если же искать пути размежевания между теорией перевода и сопоставительной стилистикой, то это, очевидно, окажется возможным не с точки зрения материала рассматриваемых явлений, а с точки зрения объема задач» [18] ⁶. Исходной посылкой для Федорова служит то обстоятельство, что стилистические функции могут выполняться единицами любого языкового уровня и что стилистика предполагает взаимосвязь и взаимодействие языковых средств всех уровней.

Современная сопоставительная лингвистика, со всей очевидностью, уже выходит за рамки сопоставительного анализа языковых фактов, разграничиваемых по их принадлежности к тому или иному уровню языка, причем не только в плане стилистики. Если исходить из функционально-

⁵ Более углубленный анализ концепция Л. С. Бархударова см. в [15].

⁶ О концепции А. В. Федорова см. в [19].

семантических категорий, то неизбежно должны приниматься во внимание значения, выраженные в сопоставляемых языковых системах элементами разных подсистем (например: лексическими средствами в одном языке — грамматическими в другом, или словообразовательными средствами в одном языке — синтаксическими в другом и т. п.). Различие между сопоставительной лингвистикой и теорией перевода в подходе к исследуемому объекту состоит, по нашему мнению, в том, что теория перевода рассматривает а к т у а л ь н у ю семантическую реализацию языковой единицы, выраженной средствами другого языка, т. е. с помощью переводной семантизации. Сопоставительная лингвистика рассматривает семантическое наполнение исследуемых языковых фактов вообще, т. е. в рамках двух языковых систем. Если в теории перевода результаты исследования базируются на анализе реально существующих переводов (или их моделей), то сопоставительная лингвистика допускает привлечение в качестве источников сопоставляемых единиц любых текстов, в частности, только оригинальных текстов на двух языках. В этом состоит наиболее существенное различие с точки зрения объекта и методов исследования между сопоставительной лингвистикой и лингвистической теорией перевода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брицин М. Я., Жовтобрюх М. А., Майборода А. В. Порівняльна граматика української і російської мов. Вид. 2-е. Київ, 1978.
2. Маројевић Р. Типолошко диференцирање руског и српскохрватског језика (на дијахронијске и синхронијске перспективе).— Јужнословенски филолог, 1986, т. XLII.
3. Benson M. Englesko-srpskohrvatski rečnik. Beograd, 1984, s. 151.
4. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Moscow — Oxford, 1982, v. I, p. 186.
5. Большой англо-русский словарь. Под общ. рук. Гальперина И. Р. Т. I. М., 1972, с. 304.
6. Речник српскохрватскога књижевног језика. Т. 2. Нови Сад — Загреб, 1967, с. 832.
7. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, 1978, s. 175.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. Ярцева В. Н. М., 1990, с. 239.
9. Filipović R. Zašto «kontrastivna analiza»? — Живи језици, 1968, № 1—4.
10. Filipović R. Uloga kontrastivne analize u lingvističkom istraživanju.— Filološki pregled, 1968. № 3—4.
11. Терзић Б. О проблему славистичких конфронтативних студија.— Живи језици, 1969, № 1—4.
12. Menac A. Još o predmetu i nazivu kontrastivne lingvistike.— Strani jezici, 1973, № 4.
13. Бархударов Л. С. Общелингвистическое значение теории перевода.— Теория и критика перевода. Л., 1962, с. 9.
14. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М., 1975, с. 26—27.
15. Маројевић Р. Леонид Степанович Бархударов као теоретичар превођења.— Мостови, 1985, № 3 (63).
16. Швейцер А. К вопросу об анализе грамматических явлений при переводе.— Тетради переводчика, вып. 1. М., 1963, с. 11.
17. Швейцер А. Возможна ли общая теория перевода?— Тетради переводчика, вып. 7. М., 1970, с. 42.
18. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. М., 1971, с. 12.
19. Маројевић Р. Компаративна стилистика и теорија превођења као општефилолошке дисциплине.— Мостови, 1974, № 1 (17).



КАЛЫНЬ Л. Э.

ФОНЕТИЧЕСКОЕ СЛОВО КАК ПРОСТРАНСТВО ФОНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Специфика фонетического строя любого языкового идиома в большой мере определяется правилами сочетания звуков и их чередования [1, с. 3]. При этом правила синтагматики первичны по отношению к чередованию, поскольку функция фонетического чередования состоит в том, чтобы устранить синтагматически запрещенные сочетания звуков, если они провоцируются слово- и формообразованием. Синтагматический запрет на сочетание звуков и их чередование обусловлены в своей основе фонетическим изменением в звуковой цепи. Но в синтагматике это эксплицируется, когда речь идет о генезисе явления, например, запрет на *ст'* в *с'т'енá* вызван ассимилятивным смягчением спиранта, но в синхронном плане это не устанавливается. В чередовании же фонетическое изменение присутствует как факт синхронных отношений, например, *с'* в *рас'т'и* является следствием фонетического изменения *с* → *с'* в морфеме *рас-*.

Если синтагматический запрет не сопровождается звуковым чередованием, принято реконструировать то фонетическое изменение, которое обусловило данный запрет. Реконструкция проводится в рамках выделенной из словоформы последовательности рядом стоящих элементов, т. е. [CC], [CV], [VC], [C#], [V#], [#V] и др. Такое сочетание моделирует фонетическую позицию как пространство, в котором происходит фонетическое изменение, а логика изменения аргументируется взаимодействием рядом стоящих звуков. Поэтому каждое сочетание звуков (или образуемая ими позиция), хотя и является частью конкретной словоформы, при моделировании фонетических процессов рассматривается изолированно, а словоформы даются как иллюстративный материал, демонстрирующий ту или иную позицию. Между тем есть основания полагать, что фонетические изменения регулируются не только взаимодействием рядом стоящих звуков, но и правилами, актуальность которых проявляется в пространстве более длинном, чем сочетание звуков, а именно, в фонетическом слове как звуковой последовательности, организуемой по правилам задаваемой в сознании говорящих произносительной программы. Используя термин Трубецкого, можно поставить вопрос о влиянии рамочной единицы на изменение сочетающихся в ее пределах звуков/фонем [2, с. 280]. Рамочная единица при этом рассматривается не как

Калынь Людмила Эдуардовна, д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения в Балканской РАН.

статическая конструкция, образуемая определенным образом расположенными элементами типа звук/фонема, а как динамическая категория, определяющая развертывание звуковой последовательности.

Обращаясь к рассмотрению поставленной проблемы, мы сопоставим с фонетическим словом изменения в последовательностях рядом стоящих звуков. Не будем касаться уподобления или расподобления звуков, разделенных сочетанием других звуков или слогов — включенность такого изменения в модель фонетического слова очевидна [3, с. 15].

Во всех славянских диалектах в той или иной мере известны фонетические изменения, определяемые как ассимиляция или диссимиляция в группах согласных и как аккомодация в сочетаниях согласного с гласным [CV, VC]. В двучленных сочетаниях один компонент играет ведущую роль, стимулируя изменение второго. В группе согласных при стимулирующем воздействии первого согласного имеет место прогрессивная ассимиляция или диссимиляция; воздействие второго на первый вызывает регрессивное изменение. Разнонаправленным бывает взаимодействие гласного и согласного в последовательностях CV и VC.

Регрессивное и прогрессивное изменения в консонантных группах ассоциируются в звуковой цепи с фонетическим пространством разного типа. Если понимать слово как фонетический процесс, протяженный во времени [4, с. 9], то следует признать, что регрессивное изменение даже в группе рядом стоящих звуков по своей сущности дистактно, поскольку первый звук меняет свою артикуляцию в предвидении еще не произнесенного, а лишь только ожидаемого звука — импульс к изменению заложен в фонетической программе слова до ее конкретной реализации. Именно поэтому О. Брок писал, что регрессивное направление изменения означает, что оно основывается на принципе антиципации [5, с. 168]. Косвенно это подтверждается сохранением результатов регрессивного позиционного изменения звука при устранении позиции, вызвавшей такое изменение. Так бывает в случае прерванного произношения, когда первый звук ориентирован на следующий ожидаемый, но не произнесенный звук *c' - /n' iná/*, */raш- /шйт' /*. Этим объясняется сохранение позиционной по происхождению мягкости в рус. диал. *кос'*, *жыс'* из *кост' жыст'* или *жыз'н'*. Свидетельством того, что антиципация определенного звука оказывает на выбор произношения большее влияние, чем реальный состав звуковой цепи, является сохранение звонкого согласного перед глухим после нулевой редукции разделявшего их гласного в русской разговорной речи и в диалектах [6, с. 60; 7, с. 217]. Такой же тип явления отражен в сохранении мягкости согласного после нулевой редукции последующего гласного переднего ряда в болгарском диалекте *св'йн'т'и* ← *св'йн'ит'и* (с. Кирютня, Молдавия)¹ при отсутствии ассимилятивного смягчения согласных. В основе регрессивного фонетического изменения приоритет принадлежит производительному намерению, а не конкретному контакту между звуками.

Прогрессивное фонетическое изменение, напротив, всегда контактно — артикуляция второго звука меняется после того, как первый произнесен, т. е. артикуляция первого звука как бы распространяется на второй. Поэтому можно считать, что прогрессивно направленное фонетическое изменение реализуется в сегменте не длиннее соответствующего сочетания звуков. Этим можно объяснить тот факт, что в славянских диалектах прогрессивное изменение в группах согласных редко носит диссимилятивный характер, т. е. конфронтация непосредственно предшествующей артикуляции затруднена. Так, например, в фонологических описаниях

¹ Здесь и далее — при отсутствии ссылок на источник — используется материал, записанный автором.

южнославянских (исключая болгарские) говоров сетки Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) на фоне многочисленных изменений в группах согласных зафиксирован лишь один бесспорный факт прогрессивной диссимилиации — это *mn* → *ml*, ср. *dīmla:k* (№ 45, *gùmlò, tàmlica* (№ 65) [8, с. 399, 491]. Иногда изменение в группе согласных похоже на диссимилиацию, но в действительности таковой не является. Так, *gn, gl* → *gñ, gl̃* (*gñ:ò:j, gñ:zdo* (№ 153), *gñi:zdo, gñò:j, gl̃istina* (№ 45) создает контраст по высоте тона между первым и вторым согласным, однако в основе этого изменения лежит ассимиляция по месту образования — передвижение, *n, l* по направлению к *g* помещает сонант в палатальную зону, а такая локализация ассоциируется с повышением тона, т. е. *n* → *ñ, l* → *l̃*.

Изменение спиранта в аффрикату после сонорного согласного в принципе усиливает контраст по сонорности/шумности, поскольку у аффрикаты признак шумности выражен сильнее, чем у фрикативного согласного (ср. замечание Трубецкого: «Смычные и сонанты как с точки зрения акустической, так и с точки зрения артикуляционной являются максимально полярными типами» [2, с. 172]). Замену спиранта аффрикатой демонстрируют такие примеры, как *brò:nza, be:nzi:n, pe:nzi:ja, kò:nzula* (№ 83), *'mòlziit, 'solza, 'òtziica, 'pòlza:f, 'benzin, 'munza, 'enza, 'màlziit* (№ 96); в болгарском говоре с. Кирутня (Молдова) — *m'evç'ar, óvs'u, b'uv's'ún, imç'um'ér*. Однако такое произношение не является результатом намерения увеличить артикуляционный контраст между сонантом и следующим согласным. Причина — в стремлении избежать снижения сонорности в конечной части сонанта перед шумным согласным и стабилизировать голосность сонанта, а это ведет к образованию переходной артикуляции в виде смычки, которая в сочетании с последующим спирантом дает эффект аффрикаты. Изменение *ns* → *nc, nš* → *nč, nž* → *nž̃* в чешском Селищев объясняет тем, что переход от носового к спиранту «происходит при закрытом входе в полость носа» [9, с. 109]. Охранительное отношение к голосности сонантов является свойством языков вокалического типа.

При прогрессивном уподоблении распространение первой артикуляции на вторую может быть настолько интенсивно, что первая артикуляция как бы переходит через вторую, становясь ее завершающей фразой. Именно это показывает аффрикатизация смычных согласных после зубных и переднеязычных спирантов в севернорусских говорах — *шчань, йешчэ*, но *дйт'е* (Тотемский р-н); *с'ч'эл'н'а* и *т'олка, шэс'ч'оро* и *шестбй* (Пинежский р-н). Подтверждением того, что пространством реализации прогрессивной ассимиляции является сегмент, равный сочетанию согласных, является устранение результатов этого уподобления, как только прерывается непосредственная связь между согласными — так в говоре Тотемского р-на при слогаделении *йэшче, рожджэн'йо* и *йэш-т'е, роже-д'ен'-йо*.

Регрессивное изменение в звуковой цепи как явление дистактное определяется правилами фонетической программы слова. Именно в различии таких программ можно видеть причину того, что одинаковые сочетания звуков развиваются по-разному в разных диалектах.

В славянских диалектах в группах согласных реализуется регрессивная ассимиляция, основанная на антиципации глухости/звонкости, твердости/мягкости, способа образования (как рус. *от'ец* → *оццá*, укр. диал. *сíl' → сінній'а*), места образования (как рус. *свар'ит'* → *шшйит'*, укр. *hrúшка* → *hrýc'ц'i*), способа и места образования (как укр. *ткати* — *чччэ*, рус. *от'ец* → *оч'ч'им*), сонорности, что может сопровождаться и изменением ряда согласного (в рус., укр., болг. диал. *дн* → *нн, н-луж. дн' → nn: parnuš, sturn'a*).

Регрессивная диссимилиация встречается реже и проявляется в изменении места и способа образования, но не тона согласного, а также участия

голоса в его артикуляции. Можно отметить и случаи «ложной» диссимилиации. Это показывает пример из одного севернорусского говора (Холмогорский р-н). Здесь происходит изменение *n* → *n'* перед *ш, ж*: *омж́ан* → *омж́ан'-шык, ц'ингá* → *зац'ин'жел'и*. Внешне это выглядит как диссимилиация согласных по высоте тона, однако в действительности это ассимиляция по месту образования. Согласные *n'* и *ш, ж*, по определению О. Брока, близки по зоне прикосновения языка к своду над полостью рта. При *n'* смычка охватывает заднюю сторону верхних резцов, заднюю десну и передний край твердого неба, при *ш, ж* — конец языка приближается к переднему краю твердого неба. Различие между *n'* и *ш, ж* состоит в форме языка — корональной при *ш, ж* и дорсальной при *n'* [5, с. 8, 25, 41]. При *n'* кончик языка более продвинул вперед, чем при *n*, т. е. расстояние между положением кончика языка больше у *n* и *ш, ж*, чем у *n'* и *ш, ж*. Замена *n* → *n'* перед *ш, ж* является следствием сближения места затвора носового с зоной образования фрикативных. Но затвор, характерный для *n'*, не сочетается с корональной формой языка, присущей *n*, и поэтому корональная форма заменяется дорсальной. В результате получается артикуляционное уподобление, сопровождаемое в то же время усилением контраста по высоте тона между согласными. Этот пример свидетельствует не только о несовпадении мотивировки ассимиляции и ее аудитивно воспринимаемого результата, но и об определенной иерархии признаков, по которым происходит уподобление. Близость рядом стоящих согласных по месту образования оказывается более важной, чем по форме языка (т. е. по высоте тона).

В славянских диалектах, имеющих мягкие согласные, могут быть выделены две тенденции построения консонантной части фонетического слова. При одной приоритет отдается сближению согласных по месту и способу образования, при другой — унификации согласных по мягкости. Эти две тенденции построения фонетического слова как бы находятся в отношении дополнительного распределения. При развитой ассимиляции по месту и способу образования согласных слабо представлена ассимиляция по мягкости, независимая от уподобления по месту и способу образования. И наоборот, при более ограниченной ассимиляции по месту и способу образования широко представлена независимая от этого уподобления ассимиляция по мягкости.

Унификация консонантной последовательности по способу образования и локальному ряду может быть весьма многообразной в одном идиоме. Так, в гуцульском говоре (Путильский р-н) актуальны изменения *шш, жж* → *шш, жж* (*нѣшши'й, жжѣта*), *сч* → *шч* (*ш чѣх'и'й, ш'ч'им*), *шц, шц'* → *сц, с'ц'* (*запорісцем, на хрјс'ц'и*), *шс, жз* → *сс, зз* (*зв́ассе, ж'із з́анними*), *чц'* → *ц'ц'* (*у сорб'ц'и*), *тш* → *чш* (*солб́чей*), *тч* → *чч* (*хачч́ена*), *тц'* → *цц, ц'ц'* (*вїцц́ем, к'їц'ц'и*), *бж* → *жж* (*ом'ж'ин'ѣти*), *дн, дн'* → *нн, н'н'* (*з́анне, не х́он'н'и*), *дл, дл'* → *лл, л'л'* (*с'їлл́о, пїл'л'їзе*), *лн* → *нн* (*пранник, мѣнник*). В этом говоре ассимиляция по мягкости представлена весьма ограниченно. Это — мягкость губных перед *й* (*зав'їзуйут, п'їекн́о*); зубных спирантов — перед заднепалатальным, развившимся из *т'* (*hic'к', шѣрс'к', ус'к'їк*); другие случаи ассимилятивной мягкости единичны. В этом говоре ассимиляция по мягкости может не происходить даже в сочетании одинаковых согласных, например, *вїдд'їл'ѣти, ес с'їна*.

Ориентация фонетического слова на унификацию консонантной последовательности по способу и месту образования означает упрощение артикуляционной последовательности в целях удобства произношения. Но в диалектах с такой тенденцией эффект удобства может достигаться не путем ассимилятивного сближения рядом стоящих согласных, а изменением общей звукообразующей установки, которая ассимиляцией не является. Имеем в виду следующее. В болгарском говоре с. Кирютня

(Молдова) при многочисленных проявлениях регрессивной ассимиляции согласных по способу и месту образования и весьма ограниченной ассимиляции по мягкости представлено изменение в группах согласных $cy \rightarrow xcy$, $шч' \rightarrow xч'$, $сч' \rightarrow xч'$ (через стадию $шч'$) — *сах ц'ар*, *Танáхца*, *л'áгч'и*, *хч'áп'иш*, *вáхч'арв'эну*, *св'ихч'áца*, *с'áкахч'и* ($\leftarrow ш\#ч'$). Внешне это выглядит как усложнение звуковой цепи, поскольку увеличивается расстояние между рядом стоящими согласными по месту их образования. Если учитывать только артикуляционную специфику *с*, *ш* и аффрикат как изолированных звуков, то логике передвижения спирантов в заднеязычный (или фарингальный) ряд понять трудно. Чем может быть вызвана столь резкая диссимиляция по месту образования, ведущая к одинаковым изменениям спиранта разного локального ряда перед разного же ряда аффрикатами? Объяснение может быть найдено, если расценить это изменение как реализацию более удобного развития артикуляции не в конкретном сочетании согласных, а в фонетическом слове. Переключение спиранта в аффрикату того же ряда осуществляется путем некоторого перемещения язычного сближения с зубами или небом спереди назад, т. е. навстречу движению воздушной струи, образующей шум. Это достаточно сложное артикуляционное движение, особенно при напряженности артикулированного глухих согласных, что свойственно рассматриваемому говору. Изменение в *x* зубного и переднеязычного спиранта означает перемещение подхода к аффрикате из передней части ротовой полости в ее заднюю часть. Это ведет к тому, что развитие шума движется по каналу звучания от более задней и простой артикуляции (фрикативной) к более сложной и передней (аффрикативной) в соответствии с естественным направлением шумопрохождения, а не навстречу ему. При такой интерпретации явления мена $c, ш \rightarrow x$ может быть понята как реализация артикуляционной экономии в фонетической программе слова.

Вариант рассматриваемого явления в виде, $s, š \rightarrow f$ перед $c, č$ зафиксирован в македонских говорах сетки ОЛА (№ 92, 96, 97 и др.): *'mefce*, *'mafca*, *'mofče*, *'raščepi* и т. д. [8, с. 683]). Считается, что в этих говорах x в зависимости от позиции или утратился, или изменился в f . Поэтому, возможно, в приведенных спирантах губному спиранту хронологически предшествовал x . Но если даже исключить этот предшествующий этап, надо будет признать, что сочетания fc , $fč$ также упрощают артикулирование фонетического слова, но по-иному, чем xc , $xč$. При fc , $fč$ в консонантной последовательности остается лишь одно язычное сближение — у аффрикаты, а спирант перемещен в губной ряд и язычная артикуляция в его образовании участия не принимает. В славянских диалектах перестройка консонантной последовательности в соответствии с естественным направлением шумопрохождения может осуществляться и с целью устранения сложных фаукальной и взрывно-боковой артикуляций, образуемых сочетаниями смычных с носовыми и латеральными одного места образования [1, с. 38]. Таково изменение $тл$, $тл'$ \rightarrow $кл$, $кл'$ в гуцульском говоре (Путильский р-н): *м'иклá*, *св'иклó*, *укл'áлосе* (иногда согласный производит впечатление среднего между $т$ и $к$). Тот же тип явления демонстрирует $d \rightarrow g$ перед l в нижнелужицком: *glumoko*, *glejko*, *gl'a*; $d \rightarrow g$ перед n , l в словенском говоре — *vz:gne*, *g'na:ko*, *gnes*, *g'le:sna*, *gla:n* (№ 149) [8, с. 215]; $t \rightarrow k$ перед n , l в македонском говоре: *k'noko*, *k'nočko*, *k'tanik*, в словенском говоре: *k'na:ta*, *'po:kle* (№ 18, 90) [8, с. 162, 702]; $b \rightarrow g$ перед m в севернорусском говоре (Тотемский р-н): *огморок*, *огману́у*, *ог м'ер'бже*.

Таким образом, изменение места образования согласного определяется не только удобством произношения конкретного сочетания когда первый согласный артикуляционно уподобляется второму ($сч \rightarrow шч$, $бж \rightarrow мм$, $дн \rightarrow нн$, $дл \rightarrow лл$). Изменение в группе согласных может реализо-

вать тенденцию строить фонетическое слово по принципу более удобного движения артикуляции. В этом случае речь идет не о сходстве рядом стоящих звуков, а об удобном произнесении фонетического слова, что может достигаться и расподоблением рядом стоящих звуков (*сч* → *џи*, *бм* → *гм*, *дн* → *гн*, *дл* → *гл*). Следует отметить, что этот тип изменения места образования согласных фиксируется в таких диалектах, где нет мягких согласных, а если есть, то слабо развита ассимиляция по мягкости.

В том, что славянские диалекты, имеющие мягкие согласные, обнаруживают неодинаковую склонность к регрессивной ассимиляции по мягкости в группах согласных, отражено различие той роли, которую выполняют мягкие согласные в фонетической программе слова в разных диалектах. Представлены два варианта в зависимости от характера сегмента, в котором проявляется синтагматическая активность мягкого согласного.

Там, где ассимилятивная мягкость согласных отсутствует или представлена слабо, мягкий согласный проявляет синтагматическую активность в сегменте типа [CVCV] — мягкие согласные аккомодируют предшествующий и последующий гласные, т. е. [V'C'V] — |y'к'э|ла, но *рос*[m'e]нала (гуцульский говор), κ[ѣ'n'a], но κѣр[n'a] (болгарский говор с. Кирютня). Антиципация мягкости при выборе согласного в фонетической программе слова здесь если вообще присутствует, то в слабой степени.

Там, где ассимилятивная мягкость развита, антиципация мягкого согласного в фонетической программе слова определяет артикуляцию не только предшествующего гласного, но и согласного. Синтагматическая активность согласного выходит за пределы сегмента типа [VCV]. Мягкий согласный организует не только этот сегмент, но и более сложную последовательность, содержащую интервокальное сочетание согласных. Последовательность унифицируется в отношении высокого тона, и мягкий согласный становится синтагматическим центром фонетического слова в целом или значительной его части. Ср. подтверждение это примеры из южнорусского говора (Моршанский р-н) — *m*[p'a'n'k'i], |m'ia'a'm'n'i|κ б[а'n'д'i]т. В этом говоре в некоторых позициях ассимиляция по мягкости приобретает ранг синтагматического запрета на употребление твердых согласных перед мягкими. Так, твердые согласные, кроме *ш*, *ж*, *ц*, запрещены перед *й* и заменяются в этой позиции мягкими; сочетания одинаковых согласных однородны по высоте тона; *m*, *д* → *m'*, *д'* перед мягкими губными согласными. *з'*, *н'*; *с*, *з* → *с'*, *з'* перед мягкими губными, зубными, а в некоторых морфемах и перед заднеязычными; *н*, *р* → *н'*, *р'* перед мягкими согласными любого рода. В то же время в этом южнорусском говоре уподобление по месту и способу образования согласных развито значительно меньше, чем в говорах без ассимиляции по мягкости. Здесь отмечены изменения *сш*, *зж* → *шш*, *жж*; *сч* → *ш'ч'*; *тс* → *цс*, *ч'с'*; *тч* → *цч*; *тш* → *чш*; *тч'* → *ч'ч'*.

Неодинаковую склонность к регрессивной ассимиляции по мягкости в разных диалектах иногда объясняют разной степенью артикуляционной связанности согласных в звуковой цепи: чем теснее связь, тем вероятнее распространение мягкости на все сочетание [7, с. 226]. Однако это плохо согласуется с тем, что при отсутствии ассимиляции по мягкости может интенсивно происходить уподобление согласных по способу и месту образования; вряд ли для этого артикуляционного уподобления достаточно меньшей связанности рядом стоящих согласных, чем для ассимиляции по мягкости.

Наличие ~ отсутствие в разных славянских диалектах регрессивной ассимиляции согласных по мягкости отражает различие той роли, которую выполняют в этих диалектах мягкие согласные в фонетической про-

грамме слова. Это различие отражает историческую динамику синтагматического поведения мягких согласных. Более архаической является модель [V'C''V], когда мягкий согласный аккомодирует соседние гласные, т. е. по высокому тону унифицируется сегмент, в котором первоначально сформировалась артикуляция мягкости. Из упомянутых выше говоров такая ситуация свойственна гуцульскому и болгарскому (с. Кирютня) говорам. Более новой является модель [V'C'C''V], когда антиципация мягкого согласного влияет уже и на выбор согласного. В севернорусских говорах унификация фонетического слова по высокому тону может поддерживаться контактным воздействием переднего гласного на следующий согласный, т. е. *к'іс'т'і*, но *гбст'і* [10, с. 103].

Поскольку более архаическая модель синтагматического поведения мягких согласных сопровождается более интенсивной ассимиляцией по способу и месту образования, можно сделать вывод, что антиципация способа и места образования согласного в фонетическом слове является более старой чертой, чем ее отсутствие.

Учет принципа антиципации как компонента фонетического слова помогает понять и некоторые факты славянской исторической фонетики.

Принято считать, что в славянских диалектах, имеющих корреляцию палатализованности, мягкие согласные на конце слова обязаны своим существованием тому, что сохранили мягкость после падения **ь*. При этом предполагается, что предварительно в этих диалектах некоторое повышение тона, определяемое как полумягкость, перед гласными переднего ряда усилилось до уровня мягкости. Это означает, что появление фонологической категории ставится в прямую зависимость от интенсивности артикуляции мягкости, и поэтому считается, что сильная мягкость сохранилась после утраты конечного **ь*, а полумягкость — нет. Но, как показывают диалекты, мягкие фонемы могут быть реализованы согласными, разными по высоте тона: полумягкими (восточноболгарские, некоторые русские), мягкими, очень мягкими (севернорусские архангельские). Это различие обусловлено разным соотношением длины переходного (*i*-образного) участка и ядра гласного, следующего после согласного.

Любое повышение тона перед гласным переднего ряда до падения редуцированных носило позиционный характер. Позиционная мягкость, независимо от ее интенсивности, должна была бы исчезнуть вслед за устранением сегмента, ее обусловившего, т. е. с утратой конечного **ь* предшествующий согласный должен стать твердым. Но мягкость сохранялась, если фонетическая программа слова включала антиципацию **ь*. Утрата этого гласного создавала значительный контраст между ожидаемым гласным (передним, достаточно высоким) и реально следующей паузой. Не реализованный импульс ожидания мог компенсироваться сохранением или даже усилением повышенного тона согласного. Контраст между ожидаемым и реальным сегментом был также ощутим, если после **ь* следовал губной или заднеязычный (т. е. веляризованный) согласный. Здесь также включался компенсационный механизм сохранения позиционной по происхождению мягкости (в позиции перед губными и заднеязычными твердые/мягкие согласные противопоставлены везде, где есть корреляция палатализованности).

Сбой в фонетической программе слова был менее ощутим, если **ь* утрачивался после губных согласных перед паузой. Низкий тон веляризованных губных не способствовал компенсационному повышению их тона. Поэтому в большей части диалектов, имеющих корреляцию мягкости, мягкие губные в конце слова отсутствуют (так в польских, серболужицких, украинских, белорусских, многих русских диалектах). Утрата **ь* не создавала конфликтной ситуации в программе слова и в тех случаях,

когда *ѣ находился между зубными согласными; позиционной мягкости после утраты *ѣ здесь чаще всего не оставалось.

Традиционно принято считать, что в восточнославянских диалектах конечные губные согласные после утраты *ѣ сначала были мягкими, а потом отвердели. Наиболее серьезным аргументом в пользу этого является то, что *e* перед губным, за которым следовал *ѣ, не подвергался лабиализации, как и перед мягким согласным. Это — североукр. *с'іѣм*, но не *с'ѣм*; рус. *с'ѣм*, но не *с'ом* при *с'ѣмий*. Однако для этих фактов допустимо и альтернативное объяснение. Переход *e* → *o* в восточнославянских диалектах — это не одномоментное событие, а процесс протяженный во времени, возможно, имевший несколько этапов [11, с. 150; 12, с. 196]. Включение элементов лабиализованности в артикуляцию *e* происходило как вследствие аккомодации гласного следующему твердому (лабиовеларизованному) согласному, так и по причине уподобления непосредственному следующему слогу. Это тем более вероятно, что фактор слоговой гармонии играет заметную роль в организации вокального состава слова в некоторых восточнославянских диалектах: ср. русское и белорусское дисимилиативное аканье; сужение *u* → *i*, *e* → *ê*, *o* → *ô* перед слогом с гласным верхнего подъема в западноукр.; в русских диалектах модель умеренного яканья, при которой понижения предударного гласного не происходит не только перед *С'*, но и перед *СС'*, в чем просматривается дистактное уподобление сегменту высокого тона, если даже он отделен от гласного твердым согласным. Если лабиализация *e* была ориентирована не только на следующий согласный, но и гласный, то понятно, что после падения редуцированных она проявилась перед согласным, за которым следовал *ѣ, но отсутствовала перед согласным, за которым следовал *ѣ, хотя этот согласный и был твердым.

Падение редуцированных провоцировало появление сочетаний шумных согласных, различающихся участием голоса. Как известно, такие сочетания в дальнейшем в большей части славянских диалектов были унифицированы по глухости/звонкости. Это в принципе достигается как регрессивным, так и прогрессивным уподоблением. Но последняя возможность использовалась в меньшей степени. Таково прогрессивное оглушение *v* → *f* в польском; озвончение *k* (и его производных в морфеме) в укр. надсянском говоре (Мостиский р-н) — *hp'édga*, *fid'gô*, *nîbíjga*, *vîzgâ* (род. от *вузѣк*), *na dúrîz'đz'î*, *ny hrumáđz'g'î*. Более распространено в славянских диалектах прогрессивное оглушение сонантов.

Регрессивное уподобление по участию голоса в сочетаниях шумных согласных означало, что в программу фонетического слова включалась антиципация артикуляции, связанной с участием голоса, при выборе шумного согласного. Следует отметить, что этот тип антиципации отсутствовал до падения редуцированных, поскольку тогда проблема контраста по голосу между рядом стоящими шумными согласными не вставала: имеющиеся сочетания были однородны по участию голоса [13, с. 105]. В этом ее отличие от антиципации элемента высокого тона, которая существовала и до падения редуцированных в рамках последовательности CV.

Включение глухих и звонких согласных в фонетическую программу слова лишено параллелизма. В славянской речи очень редко встречается отсутствие антиципации звонкого согласного при выборе предшествующего шумного. Например, на такие факты указывает Георгиев в болгарском языке: «... В нашем литературном языке глухие согласные в предлогах и приставках *от*, *с*, *в* (произносимый как *ф*) обычно не уподобляются последующим звонким согласным (*б*, *г*)» [14, с. 49]; произношение *свѣтба* зафиксировано нами в болгарском говоре с. Кирютня.

Антиципация же глухого согласного в фонетической программе слова не является таким почти безысключительным правилом. Например, во многих украинских диалектах произносятся звонкие согласные перед глухими [15, с. 71, 93, 161].

Неодинаковое синтагматическое поведение глухих и звонких шумных после падения редуцированных может иметь следующее объяснение.

Частота сочетаний типа *td* после падения редуцированных была ниже, чем *dt*. Это связано с особенностью фонетического оформления приставок и суффиксов, так как новые сочетания согласных образовывались главным образом на стыке этих морфем с другими. Приставки чаще оканчивались на звонкий согласный, а суффиксы начинались преимущественно на глухой. Отсюда и большая частота *dt* в сравнении с *td*.

Утрата редуцированного между шумными согласными создавала перепад голосной артикуляции в последовательности шумных согласных — явление, ранее отсутствовавшее. В сочетании *td* голосность повышается, в *dt* — понижается. Редуцированный гласный объединялся с предшествующим согласным в один слог. Если помнить, что по шкале голосности наиболее высокую позицию занимает гласный, а самую низкую — глухой шумный, то можно считать, что слог *dъ* по уровню голоса был более ровный, чем *тъ*. Поэтому контраст между **tъd* и **td* (1—3—2 и 1—2) более резко выражен, чем между **dъt* и *dt* (2—3—1 и 2—1). Включение антиципации звонкого согласного в фонетическую программу слова могло быть реакцией на резкость контраста и облегчалось еще и тем, что таких ситуаций, т. е. сочетаний *td* было сравнительно немного.

Сочетание *dt* появлялось чаще, было менее контрастным в сравнении с ситуацией до падения редуцированных, и поэтому антиципация глухого согласного включалась в фонетическую программу слова не во всех диалектах.

Традиционно принято интерпретировать регрессивную ассимиляцию по голосу как единый процесс, но в отдельных своих проявлениях имеющий разную хронологию: озвончение глухих происходит раньше, чем оглушение звонких, а произношение звонких перед глухими означает незаконченность процесса [16, с. 263]. В основе этого суждения лежит представление о том, что 1) сразу после падения редуцированных глухие и звонкие согласные образовали один синтагматический класс и 2) унификация рядом стоящих согласных по голосу задается как универсальный для славянских диалектов процесс, основанный на межзвуковом контакте. Однако объединение глухих и звонких согласных в один синтагматический класс для ранних эпох не бесспорно. Как показывают некоторые диалекты, согласные, образуемые с голосом и без голоса, различаются как ненапряженные и напряженные и именно по этому признаку противопоставлены [17, с. 72; 18, с. 169]. Предполагать же тождественное синтагматическое поведение у напряженных и ненапряженных согласных вряд ли можно. Если оценить унификацию по голосу как реализацию дистактных связей в пределах фонетической программы слова, то можно допустить следующее. Антиципация звонкого (или ненапряженного) и антиципация глухого (или напряженного) согласного как компоненты фонетической программы слова могли возникнуть независимо друг от друга, а не как элементы единого процесса. Поэтому современные модели типа [dt, dd] и [tt, dd] могут и не находиться в отношении хронологической последовательности, а отражают разное включение в фонетическую программу слова сочетаний шумных согласных, образовавшихся после падения редуцированных.

То, что участие голоса в образовании шумного согласного регулируется дистактными связями в фонетическом слове, подтверждается поведением конечных согласных. Оглушение звонких согласных в конце слова

происходит собственно вне артикуляционных контактов и вызвано «антиципацией безголосности паузы» [5, с. 166]. Оглушение звонких перед паузой и оглушение звонких перед согласным обычно рассматриваются в тесной связи друг с другом. Но параллельности в удержании сочетаний типа *dt* и *d#* в славянских диалектах нет — *d#* представлено более широко, чем *dt*. Из распространенности *d#* делается заключение, что оглушение звонких согласных в конце слова является самым поздним проявлением начавшегося после падения редуцированных изменения шумных согласных по участию голоса [16, с. 263; 19, с. 161]. Но сосуществование в славянских диалектах моделей [*t#*], [*d#* — *t#*] можно рассматривать и не как этапы неуклонного движения от *d* к *t* перед паузой, а как результат того, что после падения редуцированных в одних диалектах была включена антиципация паузы, а в других — нет, и так это осталось до сих пор.

Замена звонкого согласного глухим состоит не только в исключении голоса из консонантной артикуляции, но и в усилении напряженности до уровня, присущего глухим согласным. Но бывает ситуация, когда антиципация паузы вызывает не весь этот комплекс артикуляционных изменений, т. е. 1) устранение голоса происходит не на всем протяжении согласного, а лишь в его конце (*d*), 2) голос исключается, но напряженность не усиливается, оставаясь на уровне звонкого (*d*). Ср. примеры из гуцульского говора (Раховский р-н): *хреб* || *б*, *об' id* || *д*, *чэл' id* || *д*, *в' iz* || *з*, *будз* || *дз*, *зімуж* || *ж*, *дождж*, *кл'ег* || *г*.

Ярким подтверждением того, что фонетическое слово в своем устройстве в большой степени организуется на основе дистактных связей между составляющими его элементами, является межсловное сандхи, при котором в позиции перед *#* *V**Son* не только сохраняются звонкие, но и озвончаются глухие согласные. Ср. примеры из украинского надсянского диалекта (Мостиский р-н): *хлбб наш*, *мбж' i мау с' im л' id мсж' i мау дэ-війд' л' it*, *пішбу в л' iz i шчас*, *пйедз набіраї і сопуху*, *брэд удін* и др. В целом в этом говоре распределение глухих и шумных согласных происходит по модели *tV*, *dV*, *tSon*, *dSon*, *tt*, *dd*, *t#*, *t#t*, *d#* *d*, *d#* *V*, *d#* *Son*. Это значит, что на стыке слов запрещены сочетания, разрешенные в слове, т. е. *tV*, *tSon*. Запрет является следствием того, что на стыке слов звуковая последовательность регулируется антиципацией голосности сонанта и гласного. В словоформе такой антиципации нет, хотя артикуляционная связь здесь между звуками должна быть более тесной, чем на стыке слов. Брок в этой связи заметил: «Для прикосновения разных слов принцип регрессивного голосного уподобления развился в более широких размерах, чем внутри отдельных слов» [5, с. 168].

Озвончение согласных перед *#V*, *Son* не может быть аргументировано непосредственным артикуляционным контактом. Это изменение можно расценивать как реализацию тенденции не увеличивать после падения редуцированных на стыке слов количество сочетаний, контрастных по голосности. Включение антиципации гласного и сонанта в процессе выбора шумного согласного, оканчивающего предшествующее слово, исключило на стыке слов перепад по голосности, поскольку на стыке слов последовательности, начинающиеся на согласный, приобрели вид *t#* *t*, *d#* *d*, *d#* *V*, *d#* *Son*. Можно отметить, что такая модель наиболее близка к оформлению сандхи до падения редуцированных, когда перепад голосности имел место только в [*дъ*, *тъ#* *т*] и отсутствовал в [*тъ*, *дъ#* *д*], [*тъ*, *дъ#* *V*], [*тъ*, *дъ#* *Son*]. Озвончение глухих согласных перед *#V*, *Son* как бы компенсирует утрату **ъ* для того, чтобы сохранить ровное протекание голосности в условиях сандхи. Изменение *t#V*, *Son* → *d#V*, *Son* укладывается в такое протекание голосности. При таком объяснении

следовало бы признать, что модель [d # V, Son] является более архаичной, чем [t, d # V, Son] и [t # V, Son].

Сказанное выше имеет своей целью обосновать следующую идею. Логика фонетического изменения в звуковой цепи может быть понята, если поиски его мотивов не ограничивать рамками сегмента, в котором изменение непосредственно эксплицировано. Фонетическое изменение во многом определяется программой фонетического слова как процессуального явления. Фонетическое слово как звуковая последовательность реализует не только контактные связи между звуками, но и дистактные. Дистактность проявляется в антиципации определенного компонента звуковой цепи при выборе предшествующих звуков. Наличие ~ отсутствие антиципации не является онтологическим свойством какой-либо звуковой последовательности. В одном и том же фонетическом слове антиципация присутствует в одном говоре и отсутствует в другом. Это надо учитывать не только при определении правил современной звуковой синтагматики, но и при объяснении фактов исторической фонетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967.
2. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960.
3. Nužer O. Disimilace souhlásek v češtině. In: Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka. Praha, 1961.
4. Высокский С. С. Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах (Под ред. С. С. Высокского). М., 1978.
5. Брок О. Очерк физиологии славянской речи. СПб., 1910.
6. Русская разговорная речь. М., 1973.
7. Пауфошима Р. Ф. О структуре слога в некоторых русских говорах.— Экспериментально фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
8. Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajevo, 1981.
9. Селищев А. М. Славянские языки. М., 1941.
10. Пауфошима Р. Ф. О распределении мягкости в двойных сочетаниях зубных согласных в некоторых русских окающих говорах.— Исследования по русской диалектологии. М., 1973.
11. Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953.
12. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. М., 1983.
13. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
14. Георгиев В. И. По въпроса за угодобаването на съгласните в български.— Проблеми на българския език. София, 1985.
15. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови. Київ, 1955.
16. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
17. Русская диалектология (Под ред. Л. Л. Касаткина). М., 1989.
18. Калынь Л. Э. Нижнедужицкое оглушение вибрантов как факт славянской фонетики.— Формирование и функционирование серболужицких языков и диалектов. М., 1989.
19. Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.



РАБОТНИКИ УМСТВЕННОГО ТРУДА — ЭТО И ЕСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ?

(Возвращаясь к напечатанному)

Вопрос этот возник в связи с предметом моего исследовательского интереса, изложенного в статье «„Новая“ польская интеллигенция: специфические проблемы становления» («Советское славяноведение», 1991, № 3). Напомню читателю, что в публикации была предпринята попытка дать социологический портрет того поколения польской интеллигенции, которое формировалось после 1945 г. в новых исторических обстоятельствах.

Социальный слой работников умственного труда сложился в послевоенной Польше стремительно, в течение 10—15 лет, в итоге резкого общественно-политического сдвига, форсированной индустриализации и урбанизации страны. Новая генерация национальной интеллигенции уже в 1960 г. втрое превосходила довоенную по численности и существенно отличалась социальным происхождением, пополняясь главным образом из рабоче-крестьянской среды. Это было поколение «социального аванса», которому народная власть дала огромные возможности выдвижения в круг «образованных» людей. Усложнилась и серьезно видоизменилась профессиональная структура интеллигенции. Лидирующее положение в ней заняли технические специалисты и управленческая бюрократия. Гораздо умереннее увеличивался состав гуманитарной интеллигенции, вследствие чего она перестала играть доминирующую роль в системе духовного производства.

Быстро вытесняя на периферию общественной жизни «старую» интеллигенцию, «новые» ее представители вызывали к себе закономерный интерес польских социологов и публицистов, заставляли не только фиксировать очевидные процессы, поддающиеся количественному измерению, но и задаваться более существенным вопросом: формирует ли эта общность действительно новый тип интеллигента и создает ли качественно иной тип культуры, адекватный изменившимся общественным отношениям.

Споры вокруг «новой» интеллигенции, пик которых пришелся на политическую «оттепель» 50-х годов, совершенно не напоминали те, что разгорались сразу после войны в атмосфере «интеллигентских расчетов». Тогда жесткой ревизии подвергалось соответствие интеллигенции высоте ее исторических обязанностей перед нацией, но никак не оспаривался

ее социальный статус. Теперь неожиданным образом под сомнение было поставлено совпадение самого понятия «интеллигенция» с той общественной группой, которая явно выходила за его границы.

Мне представляется важным восстановить ход той давней научной полемики отнюдь не из одного только академического интереса. Сегодня в Восточной Европе наблюдается, как и полвека назад, резкий слом, идет процесс, который условно можно обозначить как переход от «развитого социализма» к капитализму эпохи первоначального накопления, возникает новая социальная стратификация, и вопрос о месте в ней интеллигенции, о ее самоопределении вновь становится актуальным.

Итак, в 1958 г. профессор Я. Щепаньский, руководивший в то время исследованием социально-классовой структуры польского общества, выступает на страницах еженедельника «Przegląd Kulturalny» со статьей, симптоматично озаглавленной «Работники умственного труда: пролетариат, интеллигенция или средний класс?». Опираясь на статистические данные и социологические наблюдения, автор пришел к выводу, что «новая» интеллигенция не обнаруживает *качественной* определенности сформировавшегося слоя. Выходцы из рабочих и крестьян, перемещаясь в сферу умственного труда, пишет Я. Щепаньский, уже не разделяют ни политических, ни экономических интересов пролетарских слоев, но они **ж** не обретают той «суверенности мышления и экономической независимости», которая была характерна для довоенной интеллигенции [1]. В стадии своего социально-психологического конституирования интеллигенция в первом поколении скорее усваивает образ жизни, свойственный тому классу, который прежде находился на более высокой ступени социальной лестницы — мелкой буржуазии. Тяготение к мелкобуржуазному менталитету с его установкой на материальное благополучие, а не к интеллигентскому — с его ориентацией на высшие духовные ценности — польский социолог объясняет тем, что «экстерновое» получение профессиональной квалификации молодыми выдвиженцами не сопровождается необходимым повышением их общей духовной культуры.

Профессор Ю. Халасиньский, размышляя над той же проблемой, также указывает на негативные последствия тиражирования работников умственного труда, протекавшего в экстремальных условиях индустриализации и урбанизации. «Новая интеллигенция, — пишет он, — несмотря на свое рабоче-крестьянское происхождение, не обнаруживает сильной духовной связи со своими классами, поскольку рекрутация ее происходила под влиянием стихийной миграции из деревни (откуда людей гнал элементарный голод. — *И. П.*) и в условиях быстрого разрастания административно-бюрократического аппарата (главный накопитель вспомогательного умственного труда. — *И. П.*). Она, конечно же, не представляет уже шляхетского образа жизни, но не обладает еще собственным стилем культуры... У нее нет внутренних, социокультурных, социопсихологических сцеплений» [2, с. 31—32].

Что касается «социопсихологических сцеплений», то здесь проф. Ю. Халасиньский был не до конца прав. Внутригрупповая солидарность в среде новой интеллигенции возникала и поддерживалась, но не на основе традиционных общечеловеческих ценностей, а на почве тотальной идеологизации общественной жизни. Критик и публицист А. Василевский одним из первых указал на опасность, какую таила в себе характерная для молодого выдвиженца начала 50-х годов поверхностная ориентация на текущую политическую целесообразность в ущерб фундаментальному овладению профессиональным знанием. В статье «Польский бигос, или о цивилизованности подлинной и „ла авось“» он писал: «Дважды в течение последнего столетия наблюдался в Польше процесс массового возникновения слоя интеллигенции: первый раз с участием лидирующих

салонно-аристократических идеалов, второй раз — под давлением идейно-бюрократических воспитательных образцов. И хотя социальное содержание обоих процессов было диаметрально противоположным — ибо первый охватывал массы деклассированных землевладельцев и создавал охранительно-сепаратистскую традицию, а другой — открывал путь к социальному выдвижению и сносил кастовые гетто, — однако в одном аспекте процессы эти наложились и продолжили бытование различных польских анахронизмов: в аспекте абсолютного превосходства дилетантского, непрофессионального, абстрактно-гуманистического способа мышления. В той же мере, в какой знакомство с литературой, искусством и правилами светского обхождения выдвигали городского бедняка в „высшие сферы“ нашего общества, общая осведомленность в вопросах идеологии, в политических направлениях и принципах бюрократического руководства достаточно была для выдвижения рабочего на руководящий пост теперь. Первый был интеллигентом, потому что умел себя вести, другой становился им, если умел политиканствовать. Ни в одном из этих двух главных исторических периодов формирования польской интеллигенции не сыграло решительной роли стремление к созданию квалифицированного обеспечения цивилизационных преобразований. С наложением этого шляхетства из XIX в. на политиканство XX мы получили, как нигде в мире, огромное число людей, втянувшихся в общие дискуссии, и огромный недостаток людей, серьезно знающих дело» [3].

Статьи цитированных мной авторов вызвали острую реакцию со стороны некоторых обществоведов и — особенно — в среде партийных идеологов. Далеко не все контраргументы носили научный характер, но были и обоснованные возражения. Прежде всего критике подверглась данная Я. Щепаньским характеристика «старой» интеллигенции как «экономически и идеологически независимой». Л. Бартельский, выступая на страницах «Nowej Kultury» с очерком «Сражение за „белые воротнички“», следующим образом формулировал свою позицию по этому вопросу: «Экономически самостоятельными были до войны немногочисленные представители свободных профессий, основная же масса, главным образом служащие, целиком зависела от работодателя либо государства. Что до „независимости мышления“, то она была результатом расхождения с действительностью буржуазной Польши и тоже охватывала далеко не все умы. Огромное большинство мыслило вполне согласно политике правящего класса...» [4].

Наиболее уязвимой в системе рассуждений критиков «новой» интеллигенции виделась сама возможность сопоставления довоенной интеллектуальной элиты с «массовым» представителем послевоенного поколения. На теоретическую несостоятельность такого подхода указывали, в частности, Р. Турский, Л. Бартельский [5; 4]. Полемизируя со статьями Ю. Халасиньского, известный культуролог, литературный критик и публицист С. Жулкевский утверждал, что методологически правильно ставить вопрос не о том, «чувствует ли себя новая интеллигенция частью класса рабочих и класса крестьян» (на что Ю. Халасиньский дает отрицательный ответ), а — как относится вся новая интеллигенция, включая и потомственную, и рабоче-крестьянскую, к «историческим интересам и идеалам трудящихся классов» [6, с. 91]. И в этом же аспекте следовало бы говорить не о том, чего в новой генерации образованного слоя *еще* нет от эталона, а чего в ней *уже* нет от прежнего образца: «Профессор Халасиньский выбрал из довоенного времени Жеромского, Пигоня и Налковського¹. И сознание таких людей он сравнивает с первым попавшимся ветеринаром

¹ Станислав Пигонь (1885—1968) — историк польской литературы; Вацлав Налковский (1851—1911) — представитель радикальной польской интеллигенции, выдающийся географ, педагог, публицист.

или историком, работающим в провинциальном городке, чаще всего после неполного 5-летнего обучения, а иногда и просто после сокращенного 3-летнего курса... Правомерно было бы такого „нового“ интеллигента, — пишет проф. С. Жулкевский, — поставить рядом с типичным корпоративистом, которого все мы знали с университетской скамьи, со средним кандидатом в ветеринары, с обыкновенным сыном аптекаря, с претендентом в адвокатуру, со всей его ментальностью, с этой его способностью... возносить, как знамя, чековую книжку отцовского магазинчика, с его зоологическим национализмом и антисемитизмом, с его культом шляхетских и филистерских традиций, с его тупым клерикализмом, с его полным политическим и социальным невежеством, с его способностью к невнимательному и одобрителному чтению тех газетных статей, где описывались акции полицейского подавления забастовок как акции в высшей степени моральные, для которого синонимом вырождения была позиция революционера, этой пресловутой жидо-коммуны. Все это, действительно, ушло в прошлое. Конечно, не совсем и не целиком. Достаточно еще и проявлений национализма, и антисемитизма, и привязанности к фидеистическим предрассудкам среди нашей молодой интеллигенции... Но эти явления не выступают в таком концентрированном виде, как до войны. И одновременно не выступают с таким арсеналом аргументов и, что главное, с таким сентиментом, как прежде, к лозунгам, взглядам и программам реакции...» [6, с. 93—94].

В пылу дискуссии ее участники не всегда слышали друг друга, а между тем у них были и точки соприкосновения. Так, верно улавливая методологический просчет в сравнительном анализе принципиально разных слоев людей умственного труда (элитарного и массового), С. Жулкевский солидаризируется с Ю. Халасиньским, по существу, в другом важном теоретическом пункте, который отменяет вульгарно-социологический взгляд на интеллигенцию: она должна оцениваться не по «удельному весу» ее пролетарской родословной, а по тому, как глубоко осознает она и насколько последовательно выражает в духовной практике нравственную перспективу общественного развития («идеалы трудящихся классов»). Но и Ю. Халасиньский утверждал то же, только шел дальше и вообще ставил под сомнение так называемую «классовую» концепцию интеллигенции: авторитет ее в обществе зависит от того, «насколько она общенародна, а не классовая... В своем общественном содержании народная интеллигенция как социологический феномен является чем-то новым в той степени, в какой предстает не классово-дворянской и не классово-буржуазной, не классово-пролетарской и не классово-крестьянской, а несет к себе и развивает элементы будущего бесклассового общества, проникается верой в бесклассовый идеал народа...» [2, с. 42].

Думается, полемизирующие стороны лучше бы поняли друг друга, если бы предмет своего спора перенесли в сферу той науки, которая им и занимается — в культурологию. Попытка же подходить к интеллигенции исключительно как «компоненту социальной структуры» дала единственный вывод (хотя и вполне смелый по тем строгим временам, но не исчерпывающий проблему): интеллигентность происхождением не дается.

А дальше начинались разночтения, каждый вкладывал в понятие «интеллигенция» собственный смысл. Одни выдвигали главным и достаточным основанием определенный уровень интеллекта, суммы и качество знаний (образовательный критерий). Другие — индивидуальные творческие и интеллектуальные усилия, производство идей (критерий творчества). Третьи полагали, что базовой характеристикой интеллигента объединяются не просто генераторы идей (технических, технологических, идеологических, этических, научных, художественных и т. д.), но носители *независимого мышления и высокой нравственной ответственности* (вспомним, что в нашей отечественной литературе генетическими качествами русского интел-

лигента также всегда считались гражданские и моральные императивы деятельности).

Осмыслить принципиальность несовпадения всех этих, казалось бы столь близких, представлений мне помогли работы современных польских культурологов (исследования Станислава и Марии Оссовских, Б. Суходольского, А. Клоковской, В. Павлючука, С. Кшеменя-Ояка и др.). Они первыми вооружили эмпирическую социологию стройной концепцией культуры. Суть ее: культура (и соответственно — обслуживающие культуру субъекты деятельности) регулируют в обществе два типа отношений — отношения между людьми и отношение человека к миру, включая в себя всю так называемую «проблематику существования». В своей социально-регулятивной роли культура вооружает людей суммой знаний и норм, необходимых для удовлетворения целей их «внешнего» бытия, адаптации к миру. В личностно-регулятивной роли культура служит исключительно целям внутреннего саморазвития индивида. В этой своей функции культура «самоцельна», как бы направлена «на себя», она обеспечивает не всю совокупность духовных интересов, а только ее интеллектуальные, эстетические и рекреативные потребности, которые ведут в итоге к удовлетворению изначальной экзистенциальной жажды в определении цели и смысла человеческой жизни, т. е. к становлению и самореализации личности.

Из общей философской посылки о двуединой природе культуры следует логическое вычленение «инструментальных» (ориентированных на общество) и «неинструментальных» (адресованных непосредственно личности) видов духовной деятельности². Разумеется, такое разграничение носит характер теоретической конвенции, ибо в эпицентре духовной практики находится человек, проявляющий себя как гражданин, работник и личность одновременно, а не параллельно (или последовательно). Нам здесь важно указать на тот, добытый теоретическим знанием, факт, что в сфере идеального существует специфическое «разделение труда» и разделение связанных с этим трудом профессий, из которых одни «работают» на продвижение общества по пути цивилизации, другие — на его духовное развитие. Носители этих профессий как бы фиксируют проявившееся в истории новейшего времени расщепление культуры и цивилизации как антиномию духовных ценностей и материальных благ, свободного творчества и необходимой производственной активности, как нетождественность некогда совпадавших представлений о человеке *образованном* и человеке *культурном*.

Теперь попытаюсь объяснить, зачем потребовалось столь длинное отвлечение в область «чистой» теории. В той давней дискуссии о «новой» польской интеллигенции, мне кажется, как раз и ощутилось, угадалось, но не было еще осознано и сформулировано характерное для нашего времени несовпадение «человека образованного» и «человека культурного», «работника умственного труда» и «интеллигента», духовного производства и культуры. Причем зависимость целого и части справедлива лишь для третьей пары категорий. Взаимоотношения в первых двух случаях сложнее и деликатнее. Специалист высшей квалификации не становится авто-

² Духовная работа, отмечает проф. А. Клоковская, сопровождает любую человеческую активность, в том числе и в сфере материального производства. Культура же, чтобы быть понятой в ее собственном содержании, должна быть выделена внутри совокупной духовной деятельности по уточняющему признаку самодовлеющего бытия: «творчество и восприятие культуры понимаются как цель в себе, а не как средство для достижения других целей». Структурными компонентами «инструментальной» культуры выступают прикладные науки и технология, идеология и политическая культура, нормы морали; соответственно в «неинструментальную» культуру включаются «чистая» наука, воспринимаемая исключительно в познавательных целях, искусство, религия, игра. Как видим, в концепции А. Клоковской (ее разделяют большинство польских ученых) культура трактуется уже, чем в антропологическом определении, оперирующем и понятием материальной культуры, и уже того, которое отождествляет культуру с духовным производством в целом [7].

матически культурным, занятый в сфере умственного труда — интеллигентом. (Он, как сказала бы Мария Оссовская, может быть и «буржуа», но отнюдь не «рыцарь».) И наоборот: культурный, интеллигентный человек не обязательно связан профессией с производством духовных благ и не всегда имеет университетский диплом.

Технологический взрыв второй половины XX в. убыстряет количественный рост и профессиональную дифференциацию слоя «образованных людей», делает гигантским разброс видов умственной работы — от уникально-творческой до рутинно-подсобной. В условиях повсеместной интеллектуализации физического труда возникают десятки «пограничных» специальностей. На фоне этих процессов явным анахронизмом звучит некогда усвоенное нашим обществоведением отношение к интеллигенции как «социальной прослойке», да еще выражающей исторические интересы гегемона. Интеллигенция, похоже, утрачивает долго приживлявшееся ей социально-классовое содержание и вновь обретает свой первоначальный смысл — духовно-нравственный.

Академик Д. С. Лихачев однажды заметил: «Интеллигент — это тот, кем нельзя притвориться». Не скажем точнее и лучше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Szczepański J.* Pracownicy umysłowi: proletariat, inteligencja czy klasa średnia?— *Przegląd Kulturalny*, 1958, № 51—52, s. 8.
2. *Chalasiński J.* Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej. Warszawa, 1958.
3. *Wasilewski A.* Bigos polski czyli o nowoczesności rzeczywistej i «na niby».— *Nowa Kultura*, 1957, № 18, s. 2.
4. *Bartelski L. M.* Bitwa o «białe kołnierzyki»?— *Nowa Kultura*, 1959, № 4, s. 5.
5. *Turski R.* Kulisy polowania na byka.— *Przegląd Kulturalny*, 1959, № 6, s. 1, 4.
6. *Zółkiewski S.* Głos w dyskusji «Inteligencja i naród».— *Nowe Drogi*, 1958, № 7.
7. *Kłoskowska A.* Społeczne ramy kultury. Warszawa, 1972; *Socjologia kultury*. Warszawa, 1981.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Мансветова Е. Н. Славянизмы в русском литературном языке XI—XX веков. Учеб. пособие. Уфа, 1990, 76 с.

Марковски Г. Триножник: Размисли за живота и смъртта за лит. и за себе си. Софий. 1990, 362 с.

X Международен конгрес на славистите. София, 14—22 септ. 1988 г. Научно-информ. материали. София, 1991, 147 с., ил.

Мојашевски М. Стихови и путописне цртице Артура Шота о Србији и Банату (1841—1850). Београд, кв. 603, 1990, 125 с.

Мочуров А. Разорани сѣнища: Опит върху селската поезия, 1958—1983. София, 1990, 211 с.

Найденова И. Унгарската художествена литература и възприемането ѝ в България (1878—1944). София, 1990, 296 с.

Народното четиво през XVI—XVIII век. София, 1990, 424 с., 8 л. ил.

Незабравямте: Спомени за български писатели, загинали в борбата против фашизма. София, 1990.

Никић Л. Косово, 1389—1989: Избор их Фондова библ. Срп. акад. наука и уметности. Београд, 1990, 41 с.

Опыт культурного строительства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Указ. лит. М., 1991.

Политические системы СССР и стран Восточной Европы 20—60-е годы. М., 1991, 254 с.

Развитие прозаических жанров в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1991, 248 с.

Революционные преобразования в странах Восточной Европы: причины и последствия (Сб. ст.). М., 1990.



Фирсов Е. Ф.

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В НАСЛЕДИИ Я. А. КОМЕНСКОГО В ОСВЕЩЕНИИ Й. ПОПЕЛОВОЙ (К юбилею Коменского)

Многогранными были научные интересы Йиржины Попеловой (1904—1985), талантливого чешского философа, наибольший вклад сделавшей, как представляется, в «комениану». В этой области Й. Попеловой принадлежит немало научных открытий [1].

Историографический вклад Й. Попеловой в выявление соотношения у Коменского национального и общечеловеческого связан прежде всего с ее объемной аналитической статьей, непосредственно посвященной этой теме [2, с. 13—29] и обобщающей монографией [3]. Й. Попелова стала продолжателем того научного направления, которое традиционно развивала чешская историко-философская школа на рубеже XIX—XX вв. и в межвоенный период (упомянем, например, работы Т. Г. Масарика, Ф. Шальды, К. Крофты и других, в которых они касались отношения Коменского к родной среде и его универсальности).

Й. Попелова в литературе межвоенного периода считалась ученицей В. Гоппе, исследовательницей, придерживающейся *«социального активизма с акцентом на традиционные социалистические принципы»* (подчеркнуто нами. — Е. Ф.). Это во многом определяло научный облик и социально-политический профиль начинающей тогда исследовательницы.

После окончания в 1927 г. философского факультета Карлова университета Й. Попелова учительствовала в стражницкой гимназии в Моравии, что, как подчеркивала и сама исследовательница, способствовало усилению ее интереса к личности Коменского. Й. Попелова вспоминала: «Этот город как бы дышал историей. Я прежде всего думала о двух друзьях, которые провели здесь свои школьные годы — Коменском и Драбике» [4].

Одной из задач своей жизни Й. Попелова считала тщательное изучение многогранного наследия Я. А. Коменского как ученого-философа (а не только как «учителя народов», как было принято традиционно), в контексте передовых течений европейской культуры, чтобы сделать доступными широкой общественности его оригинальные идеи [3, с. 7]. Ей удалось показать, что философия Коменского занимала достойное место среди фило-

Фирсов Евгений Федорович — канд. ист. наук, доцент кафедры истории западных и южных славян МГУ.

софских систем своего времени, объединив в себе эмпиризм и рационализм и представив человека во всем богатстве его проявлений и взаимосвязи с миром природы. Кредо Коменского стала философия всеобщего исправления (реформаторства) как закономерный итог его прагматологической концепции.

И. Попелова на основании многолетних размышлений пришла к выводу, что применительно к взглядам Коменского можно наблюдать постепенный переход от частного к более общему, к универсальному [3, с. 12—13]. Это — отличительная черта метода Коменского: от осмысления судеб родного народа в послебелогорский период к общечеловеческим, универсальным проблемам.

В своей монографии о Коменском-философе И. Попелова пришла к обобщающему заключению о том, что все сочинения Коменского раннего («общепросветительского») этапа его творчества, начинающиеся с приставки «пан-» были ориентированы на чешскую среду, а затем, в связи с изменившимися условиями в положении Чешских земель и исчезновением радужных надежд на свое скорое возвращение на родину из вынужденного изгнания, мысль Коменского выходит за рамки родины и из критики общественных отношений перерастает в концепцию всеобщего исправления мира (реформаторство всех сфер жизни) [3, с. 12—13]. Подобная эволюция в сторону необходимости решения проблем в общечеловеческом масштабе, отталкиваясь от потребностей родной среды, была свойственна, согласно Попеловой, всем сферам творческой деятельности Коменского (включая и дидактику). «Чувствуется какая-то трагичность, вызванная утратой чарующего прибежища родины, в этом развитии, направленном на достижение общечеловеческой гармонии. Каждый шаг от родного к общечеловеческому сопровождается трагичным чувством невозвратимой утраты», — так определила психологическую тональность работ Коменского И. Попелова [3, с. 13—14].

Стремление к культурному обогащению родной среды, любовь к родному языку были присущи Коменскому с юношеских лет и усилились во время его учебы за границей. Такое отношение было продолжением тенденций чешского гуманизма и чешской реформации, причем реформацию роднило с гуманизмом стремление к совершенствованию чешской культуры, языка и образования [2, с. 13]. Коменский развивал традиции чешского гуманизма, выступая за распространение образования среди широких слоев народа. Забота о развитии чешского языка у него связана с задачей подъема общего уровня развития народа. И. Попелова с привлечением всех доступных источников тщательно анализирует отношение Коменского к родному языку и его конкретные шаги по составлению знаменитого словаря — так называемой «Сокровищницы чешского языка» и др. И. Попелова подчеркивает, что Коменский стремился, во-первых, к популяризации на родном языке достижений классической античной культуры; во-вторых, к распространению через переводы и оригинальное творчество знаний о современной науке и технике и, наконец, к внедрению библейской культуры в традициях чешской реформации [2, с. 14]. Коменский ставил развитие языка в контекст общего развития мышления, знаний, ремесел и научного познания во всех сферах человеческой деятельности. Право на образование на родном языке философ считал естественным правом всех людей. Однако забота лишь о родном языке приводит к взаимному непониманию и помехам на пути взаимного сотрудничества и достижения всеобщего мира, препятствует взаимообогащению достижениями разных культур. Задача общественного прогресса требуют эффективной помощи ушедших вперед в своем развитии народов — менее развитым. Постепенно Коменский пришел к осознанию необходимости особого, доступного всем универсального языка, способного прояснить

в различные слои общества. Й. Попелова заключает в монографии: то, что Коменский еще в молодости задумывал сделать для своего народа (имеется в виду популяризация в народе полезных знаний на доступном языке) выступает впоследствии также в универсальной плоскости, в связи с задачами развития человечества и всех народов, независимо от их современного уровня, причем при учете и их родных языков [3, s. 177]. Осознанный Коменским принцип универсальности привел его к важному выводу о необходимости совершенствования образования у всех народов. Универсализм, направленный на достижение общечеловеческой гармонии, был обусловлен утратой Коменским родной чешской среды. Его просветительские и реформаторские стремления слились с идеей религиозной веротерпимости, политической, общественной и национальной толерантности [3, s. 14].

Й. Попелова считает, что подобная эволюция от национального к общечеловеческому, универсальному прослеживается у Коменского и в отношении национального самосознания [2, s. 15]. И в послебелогорский период, неблагоприятный для Чешских земель, Коменский видел одну из главных задач в сохранении исторической преемственности чешской культуры и чешского языка, созданного не одним поколением. Он признавал существенные заслуги в деле развития национальной письменности за Общиной чешских братьев. Одну из важных составляющих национального самосознания Коменского Попелова усматривает в постоянно присущей ему озабоченности судьбами родины и народа и вытекающих отсюда размышлениях о его миссии в общеисторическом процессе, а также о причинах национальной катастрофы у Белой Горы и нравственных предпосылках возрождения народа. Попелова выделила у Коменского целую группу сочинений, которые касались проблемы судеб чешского народа, что не было сделано ее предшественниками. Горечью поражения проникнут труд «Скорбящий» [2, s. 17]. Основным лейтмотивом «Скорбящего» была проблема утраты родины и связанные с этим опасения за судьбу родного народа. Вместе с тем Коменского в этой группе его сочинений не оставляет гордость от сознания достоинств и богатства чешского языка и культуры. Он задается основополагающими вопросами о чувстве родины, о ее ценности для человека, о том, почему человеку не все равно, где жить. Вопросы эти рождались в состоянии тяжелой депрессии в послебелогорском изгнании, а, перерабатывая творческие импульсы, Коменский обращался как к библейскому, так и к гуманистическому культурному наследию, особенно это касается псалмов и плачей о судьбе родины и народа [2, s. 18]. Тщательный текстологический анализ «Скорбящего», проведенный Попеловой, приводит к выводу, что форма диалога позволила Коменскому противопоставить космополитизм (согласно которому родина — везде) и безграничную любовь к родине, необъяснимую одним лишь рациональным путем. Коменский ведет поиски глубинных истоков любви к родине, ставшей для него и его окружения источником небывалых страданий. Голос разума пытается объяснить это чувство материальным фактором, например, утратой имущества в результате вынужденного изгнания; он предлагает начать считать страну пребывания родиной, чтобы преодолеть психологические трудности изгнания, ставшего фактом. Однако Скорбящий Коменского не утешается рассуждениями холодного разума, а заставляет заговорить обостренное чувство родины [2, s. 19]. Появление данной работы Й. Попеловой в 1970 г. было вызвано не столько юбилеем Коменского, сколько гражданственным стремлением ученого осмыслить последствия, масштабы и горечь очередной волны чешской эмиграции в условиях развернувшейся в Чехословакии «нормализации».

Коменского мучает вопрос о послебелогорской Чехии: «Как можно, что Бог допустил и выдал своих верных в руки недругов?». Крайняя оза-

боченность побелогорской судьбой родины и народа заставляет его задуматься над философской проблемой о сущности исторического процесса и соотношении предопределенности всего происходящего с безграничностью и абсурдностью зла в истории. Попелова охарактеризовала чувство отчаяния, охватившее Коменского и перешедшее в метафизическую плоскость, как скорбь о народе, безутешно покинутом в вихре мировой истории [2, с. 20].

Трактат Коменского «О воскресшем Аггее» писался уже в изменившихся условиях, когда у чешской эмиграции появилась надежда на скорое возможное возвращение на родину. Произведению свойственны мотивы счастливого поворота национальной судьбы, обусловленного в представлении мыслителя осознанием ошибок прошлого и своей вины за поражение у Белой Горы и верой в возможности нравственного возрождения национальной жизни [2, с. 21]. Это произведение Коменского проникнуто любовью к простому чешскому народу и критикой высших сословий, приведших страну к теперешнему состоянию. В ходе размышлений о смысле национального бытия будущее народа предстает у Коменского как программа возрождения национальной жизни, связанная с исправлением церкви и осуществляемая в ходе совершенствования системы образования. Попелова вдумчиво анализирует историческую концепцию Коменского, обнаруживая признаки ее влияния на последующую концепцию национальной истории, созданную чешским историком Ф. Палацким. Убежденность в справедливости начатой чехами борьбы за исправление церкви побуждает Коменского верить в то, что колыбель реформации — Чешские земли — не будут оставлены в беде.

Историческое значение чешского народа Коменский усматривал именно в его бесспорном вкладе в дело реформации в Европе. Значимость Чешских земель Коменский связывал с далеким прошлым, считая раннюю славянскую церковь и церковно-славянскую литургию наиболее истинными. Его концепцию исторического развития чехов в связи со всемирной историей, Попелова оценила как достаточно разработанную. В ней чешскому народу отводилась важная роль справедливого борца за «истинную христианскую веру», осознание же Коменским преемственности исторического развития побудило его называть всех членов Общины чешских братьев гуситами [3, с. 225]. Он выступает за восстановление прежних границ чешского королевства, включая Моравию, Силезию и Лужицу.

В своих работах Попелова охарактеризовала отношение Коменского к христианству в целом. По справедливому утверждению П. Флосса, И. Попелова по достоинству оценила концепцию Коменского и отвергла упрощенные ее характеристики «как пережиток средневекового менталитета. Коменский оставался верным возрожденческому гуманизму и кальвинизму левого толка» [4, с. 78].

И. Попелова систематизировала взгляды Коменского на вклад чешской культуры в развитие мировой. Коменский всегда стремился к взаимопониманию всех народов: «Если все друг друга станут понимать, то станут как один народ, один дом и одна божья школа» [2, с. 23].

Раздумья Коменского о национальном и общечеловеческом привели к созданию определения нации, передового, по оценке Попеловой, для своего времени. В основу этого определения были положены главные признаки преемственности, выделенные Коменским: «Нация — это масса людей, рожденных от одного племени, проживающих в одном месте мира (как бы в едином доме, который называют родиной), использующих единый особый язык и тем самым связанных теми же связями общей любви, согласия и стремлением к общему благу» [2, с. 24].

Наиболее ярко отношение Коменского к национальному и общечеловеческому проявилось во «Всеобщем совете об исправлении дел челове-

ских». Главным тезисом, включенным впоследствии Коменским и в «Консультацию», стало положение «о неотложной необходимости в жизни всем нам реформации» [2, с. 24]. По словам Попеловой, социальная утопия Коменского, которая в «Консультации» стала программой общемирового исправления общественных отношений, определялась образом жизни Общины чешских братьев [2, с. 25]. Ее Коменский считал истинной наследницей чешской реформации, воплотившей на практике принцип религиозной веротерпимости. В образе жизни Общины Коменский особенно ценил высокую дисциплинированность, стремление к преодолению социальной несправедливости в практике Общины путем благотворительности, предусматриваемой уставом Общины. Небольшая чешскобратская община становилась прообразом большой — объединяющей человечество [2, с. 26]. Перспектива такого большого братства могла служить утешением Коменскому в конце его жизни. В письме своему другу Драбику Коменский выразил веру в то, что Бог, вместо малой хорошей общины, создаст большую лучшую общину среди всех народов земли; закрывая за собой двери малой Общины, Бог открывает впереди двери большой универсальной Общины [2, с. 26]. От веры в лучшее будущее своего народа Коменский пришел к утверждению реформаторской концепции «исправления дел человеческих».

В последних своих работах Й. Попелова стремилась исследовать две системы в методе Коменского — традиционную (ортодоксальную) и неортодоксальную (эмендационную). Вершиной неортодоксального подхода Коменского, когда он прибегает и к методу ревелляции, Попелова считает его своеобразное сочинение-дневник «Откровения пророка Ильи», ставшее своеобразным итогом его жизненной программы. Коменский выражает здесь веру в людей с исключительными способностями, рождающихся у разных народов в различные исторические периоды и выступающих как бы в роли и функциях пророков, добывающихся исправления общественных отношений по воле божьей. Применительно к Чешским землям такими деятелями Коменский считает, например, Яна Гуса и Иеронима Пражского. Коменский не исключал, что подобная роль была возложена историей и на него самого, и считал недопустимым отвергнуть ее из лени, нерадения или несмелости [3, с. 219—222].

На разработку Коменским проблем универсального значения повлияли присущие, по мнению Попеловой, чешскому народу черты: осмотрительность, национальная терпимость, чувство уважения к любому, даже самому малому народу. Превратности судьбы родного народа научили Коменского глубокому пониманию характера других народов и религиозных общин. Он считал, что не только Европа, но и любая часть света заслуживает уважительного отношения, ни один народ не должен быть унижен и лишен свободы; ни огромные размеры, ни сила, ни богатство не дают никому права относиться пренебрежительно, прибегая к насилию к другим народам и т. д. [2, с. 26].

Идея общности всех народов развивалась Коменским на фоне тонкого понимания им национальной неповторимости каждого (и самого малого) народа, которого недопустимо лишать суверенитета насильственными методами [2, с. 26].

Безвредное классическое историко-философское образование Попеловой позволило ей применить к оценке личности, творческого наследия и философской концепции Коменского новый, комплексный философско-культурологический подход с максимальным использованием всех расшифрованных источников, принадлежащих его перу.

Общие методологические установки Й. Попеловой, которые уже в начале научно-педагогического пути определялись отходом от жестких позитивистских критериев и склонностью к оценке с позиций так называемых

мого социального активизма, способствовали объективному переосмыслению ею вклада ученого-мыслителя (а не только педагога и учителя народов) Коменского в развитие общеевропейской культуры, его заслуг в формировании идеи общеевропейского дома и создании оригинальной философской системы, центром которой являлся человек во всех его диалектических жизненных противоречиях.

Существенным представляется и вклад Й. Попеловой в раскрытие связей национального и общечеловеческого. Ей удалось показать, в какой мере труды Коменского, вызванные потребностями развития родного народа, испытывали влияние европейской культуры, с одной стороны, и какие национальные достижения, черты и реалии он использовал в ряде своих трактатов, имевших универсальное общечеловеческое звучание, — с другой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Floss P.* Ke komeniologické práci J. Popelové.— In: Jiřina Popelová. Filozofka a učitelka filozofie. Brno, 1984, s. 78—79.
2. *Popelová J.* Komenského češství a světovost. Universita Karlova J. A. Komenskému. 1670—1970. Praha, 1970.
3. *Popelová J.* Filozofia Jana Amosa Komenského. Bratislava, 1986.
4. *Popelová J.* Co dala Morava mé filozofii.— In: Jiřina Popelová. Filozofka a učitelka filozofie. Brno, 1984, s. 8—9.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Семерждиев П. Съдебният процес срещу Никола Д. Петков през 1947 г. София, 1990, VIII, 267 с., ил.

Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Андрея Валицкого: Реф. сб. М., 1991.

Славянский сборник: Соц.-экон. и полит. развитие зарубеж. славян, народов. Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4. Саратов, 1990.

Стевановић М. О езику Горског вијенца. Посебна из. Београд, 1990, 254 с.

Стефанов В. Разказвачът на «модерните времена». София, 1990, 169 с.

Строительство основ социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Сб. обзоров. М., 1991, 103 с.

Страшижиров Д. Левски пред Къкринската голгота: История и критика. София, 1991, 128 с.

Страшун Б. А. Конституционные перемены в Восточной Европе, 1989—1990. М., 1991, 208 с.

Томић Ј. Н. Срби у Великој сеоби: 10 година из историје срп. народа и цркве под Турцима, (1683—1693). Београд, 1990, 268 с.

Топалов К. Възрожденци. София, 1990, ч. 2. 211 с.

Трифуновић Т. Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. 2о, доп. изд. Београд, 1990, 288 с.

Фишер И. Р. Крестьянство Чехии в период позднего феодализма: Учеб. пособие по спецкурсу. Йошкар-Ола, 1990, 116 с.

Bałto-słowiańskie związki językowe. Wrocław etc., 1990, 402 s., il.

Baranowski H., Czarcziński I. Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji. Toruń, 1990, 152 s.

Bihar megye és a Hajdúság (1773—1808). Budapest, 1991, 333 old. 41. terk.

Bohm V. Két forradalom tuzében: Októberi forradalom. Proletár-diktatura. Ellenforradalom. Budapest, 1990, 502 s.

Borejszo M. Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600. Poznań, 1990, 208 s. 12 ark il.

Drozdowicz Z., Topolski J., Wrzosek W. Swistości poznania historycznego. Poznań, 1990, 218 s.

Dygdala J., Wierzchostłowski S. Nawra Kruszyńskich i Szanieckich: Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej. Toruń, 1990, 181 s., il.

Economic and political change in Eastern Europe: Rep. of a Staff study mission to



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В. И. КОСИК. Русская политика в Болгарии. 1879—1886. М., 1991, 180 с.

Вышло в свет новое исследование, посвященное сложным проблемам истории русско-болгарских отношений в XIX в., а также возрождения болгарской государственности. Работа построена на огромном, преимущественно документальном материале, главным образом из архивов СССР, и сразу же захватывает читателя. Здесь дается масса впервые вводимых в научный оборот фактов, которые в сочетании с общеизвестными данными, отобранными в строгом соответствии с поставленной задачей, позволяют создать интересное, насыщенное и вместе с тем сложное историческое полотно.

Рецензируемая монография представляет собой компактный, хорошо организованный текст, который имеет введение и заключение и разделен на девять коротких, но емких по содержанию глав. Это позволяет читателю проследить как динамику происходивших процессов, так и логику авторского видения быстро менявшейся ситуации.

К сожалению, в самом начале обращает на себя внимание досадный момент: отсутствие историографии заявленной темы в целом или каких-то ее аспектов, историографии, заметим, значительной как по количеству составляющих ее работ, так и по разнообразию представленных в них точек зрения. В итоге объективная оценка вклада автора в разработку проблемы существенно затруднена.

В первой главе «Международно-правовое положение Болгарского княжества и Россия», по сути, обозначаются исходные рубежи исследования, в общих чертах воспроизводится утверждение болгарской государственности де-юре по-

средством международно-правовых актов, подписанных великими державами. Вместе с тем здесь убедительно освещается процесс укрепления этой государственности де-факто с помощью дипломатии России, которая, преследуя свои геополитические цели, в то же время помогала княжеству стать субъектом в сфере международных отношений, что было возможным лишь за счет ущемления прав сюзерена последнего. Достижению такой цели способствовало и невмешательство русских представителей в Болгарии в принятие окончательного варианта конституции нового государства, где не упоминалось о его вассальной зависимости.

Две последующие главы — «Первые проблемы управления и русская политика» и «Государственный переворот 1881 г. Союз Александра I и Эдирота» — развивают в первую очередь тему государственного строительства в Болгарии. В них автор сосредоточился на монархе и политических силах страны, рассматривая их во взаимоотношении друг с другом, а также разграничивая в принципиальном плане — с точки зрения подхода к только что принятой Тырновской конституции. Важной составной этой части работы стал показ неоднозначного влияния руководства внешней политики России, ее правящего эшелона, представителей ее дипломатии и военных на мучительный процесс формирования механизма власти в княжестве.

И хотя в монографии не ставится специальная задача — дать исчерпывающую характеристику состояния общества, уровня его политической культуры, а также развития его социально-политиче-

ской элиты, автор так построил свое исследование, что привлечение подобного материала в упомянутые и некоторые другие главы стало необходимым. На мой взгляд, критическое осмысление такого материала подводит читателя к осознанию потребности более профессионального и нюансированного, чем прежде, анализа Тырновской конституции, выяснения степени ее пригодности для тогдашней стадии цивилизационного развития болгарского общества. В правомерности постановки названных проблем убеждают и приводимые в работе данные о скептическом отношении к этому документу применительно к тогдашним условиям как в среде непосредственно сталкивавшихся с болгарской действительностью представителей военного и дипломатического ведомств России, в руководстве этих ведомств, так и в политических кругах ряда держав европейского концерта. Иными словами, мне представляется, что монографией подтверждается ставшая очевидной актуальность возвращения в проблематике болгарского конституционализма в начальной стадии его существования, необходимость отказа от упрощенческо-догматического стереотипа представлений о нем, сложившегося в рамках марксистско-ленинской методологии исследования исторических процессов. В свою очередь, все это может создать возможности для новых, более объективных подходов к оценке личности А. Баттенберга, его деятельности в качестве главы Болгарского государства, позволит по-иному рассматривать формировавшиеся политические и социальные структуры болгарского общества, что уже прослеживается в рецензируемой монографии.

В насыщенной интересными архивными и другими материалами третьей главе одним из центральных является дискутируемый в течение десятилетий вопрос об истинной роли России в событиях апреля — мая 1881 г., т. е. о ее причастности к подготовке и осуществлению государственного переворота, в результате которого было приостановлено действие Тырновской конституции и введен режим полномочий. Аргументация автора в пользу того, что русское правительство не было непосредственно ангажировано в этой акции, выглядит вполне убедительно

и заслуживает внимания. Однако совокупность известных в науке, а также приводимых В. И. Косиком разноречивых фактов (часть из которых до сих пор была неизвестна) все же оставляет, на мой взгляд, ощущение, что возможности обращения исследователей к этим сюжетам еще не исчерпаны.

В четвертой — шестой главах («Русская дипломатия и генеральское правление во время режима полномочий», «Миссия А. С. Ионина» и «Дипломатическая деятельность А. И. Кояндера. Мнимые успехи и явные провалы») основной упор делается на постепенное усложнение отношений между Болгарией и Россией в условиях, когда в молодом государстве стали функционировать новые структуры власти, которые должны были обеспечить режим полномочий, а затем происходил медленный отказ от последнего. Здесь четко прослеживается укоренение в правящих кругах России отношения к Александру I Баттенбергу как к противнику русского влияния в Болгарии и стороннику проавстрийской внешнеполитической ориентации страны. В. И. Косик убедителен в своем тезисе, что постепенно любая попытка Александра I к самостоятельным действиям стала расцениваться официальным Петербургом как проявление враждебности к нему.

Автор далек от упрощенческой, однозначной оценки болгарского князя. Мобилизуя очень большой и насыщенный материал, характеризующий болгарскую действительность начала 80-х годов XIX в., он пытается (и успешно) показать сложность поведенческих проявлений этой личности, оказавшейся под тяжелым грузом внутренних и внешних проблем. И сразу следует отметить, что если внутривластная ситуация в княжестве представлена в монографии вполне удовлетворительно, то отражение в этой части работы внешнеполитического контекста, в котором развивались отношения между Петербургом и Софией, оставляет желать большего. В итоге, у читателя складывается впечатление, что эти отношения носили тогда преимущественно самодовлеющий характер. Безусловно, предъявляемые к автору претензии несут в себе оттенок максимализма, поскольку современное состояние разработки вопроса «Россия — Болга-

рия — европейский концерт» дает еще ограниченные возможности в этом плане. Однако некоторые материалы все-таки общеизвестны и их более активное использование позволило бы в ряде случаев убедительно объяснить, почему русским императором Александром III (с подачи дипломатических агентов и военных представителей в княжестве) постепенно овладевает маниакальная, по выражению автора, идея враждебности А. Баттенберга к державе-освободительнице.

В. И. Косик уже в этой части своей работы сумел раскрыть, сколь трудным орешком для русской дипломатии оказалась Болгария, развитие событий в которой часто носило непредсказуемый характер. Убедительно подтверждает такую точку зрения приводимый здесь очень интересный и достаточно объективный анализ сути дела, который предложил в октябре 1883 г. в своем донесении главе МИД России Н. К. Гирсу русский дипломатический агент в Софии А. С. Ионин: «Мы сами не могли определить себе той цели, которую нам можно было бы и нужно бы преследовать в Болгарии. В связи с этим запутались мы и в выборе средств так, что каждый наш агент (дипломатический. — *Т. М.*) составлял свой особый план действий и разрушал работу своего предшественника. Со времени Берлинского трактата Россия не вполне оправдала те ожидания, которые возлагали на нее болгары. Беспрестанная перемена взглядов, людей и систем, переход от Тырновской конституции к едва замаскированному деспотизму — смутили умы и поколебали наш нравственный кредит...» (с. 72). И как бы признанием собственной беспомощности стал избранный в конечном итоге русской дипломатией курс на дискредитацию Александра I с целью изгнания его из страны, что весьма обстоятельно прослеживается в работе.

Разумеется, не только взаимоотношениями между князем, с одной стороны, и правящими кругами России и ее представителями в Болгарии — с другой, исчерпываются рассматриваемые в монографии проблемы. В уже упомянутых, да и последующих главах убедительно воспроизводятся политическая атмосфера в княжестве, характеризовавшаяся периодами накаленности и охлаждения страстей, а также попытки русской дип-

ломатии воздействовать на нее для решения своих задач, равно как и ориентация время от времени части болгарских политиков на русских представителей в собственных интересах.

В связи с этим хотелось бы заметить, что автор не очень четок в разграничении болгарского политического мира. Без достаточного пояснения, «кто есть кто» и каковы границы существовавшего водораздела, в книге на политическую арену выводятся просто консерваторы и крайние консерваторы, просто либералы и левые, крайние, непримиримые, умеренные либералы. Это было бы важно сделать тем более, что появились новые наработки в данной области и, как утверждают современные исследователи, болгарский вариант консерватизма имел весьма специфические черты.

Заключительные три главы работы охватывают период немногим более года, когда негативные накопления в отношениях между Россией и Болгарией достигают апогея и в ноябре 1886 г. приводит к разрыву между двумя государствами.

Здесь можно выделить главу седьмую — «Время испытаний. От румелийского переворота до военного провозглашения». В ней интересно (с учетом основной темы монографии) обозначаются и решаются проблемы, связанные с событиями сентября 1885 г., когда внешний мир был поставлен перед фактом объединения княжества с Восточной Румелией, т. е. переживавшее процесс национальной консолидации общество практически преодолело первый этап в своем продвижении к Сан-стефанской Болгарии. Освещаются и серьезные для княжества и внешнего мира последствия этого события.

Автору удалось передать, насколько задетой в сложившейся ситуации почувствовала себя Россия, которая уже со времени подписания в 1878 г. Берлинского договора, сузившего границы возрожденного государства, сознавала неизбежность воссоединения разрозненных территорий. Однако возможности для этого в Петербурге видели только через войну за «турецкое наследство», к чему там тогда еще не были готовы.

Не вызывает сомнения выдвигаемая В. И. Косиком точка зрения, что А. Баттенберг оказался перед необходимостью

выбора в вопросе о воссоединении, непосредственная подготовка которого была тщательно законспирирована; присоединившись к этой акции, болгарский князь укреплял свои позиции внутри страны. Представляется, что это так или иначе должно было усилить его весомость в глазах ряда великих держав, перед судом которых, а также Порты, он неизбежно должен был предстать как лицо, ответственное за нарушение международных договоренностей.

Для официальной России, как это удалось передать автору, ситуация определялась двумя существенными моментами: с одной стороны, от нее требовалось новое напряжение сил в нескрывающейся борьбе с оппонентами в европейском концерте по вопросам установления приоритетов в регионах, в том числе и на Балканах, а с другой — вроде бы появлялись более реальные возможности избавиться от ненавистного русскому императору болгарского монарха. Отстаивая собственные интересы, Россия воспользовалась тем, что каждая из великих держав старалась не допустить усиления своего, может быть, даже потенциального конкурента (в данном случае объектом была Англия, сделавшая ставку на А. Баттенберга). В конечном итоге российская дипломатия сумела так повлиять на содержание подписанного 5 апреля 1886 г. представителями европейского концерта и Турции Топханейского договора, который узаконивал акт воссоединения княжества с Восточной Румелией, что попытки Порты привязать к себе Болгарию с помощью военного союза остались нереализованными, а положение Александра I становилось достаточно уязвимым. В документе имя болгарского князя, как генерал-губернатора Восточной Румелии утверждавшегося султаном с согласия великих держав через каждые пять лет, не упоминалось, что в то же время ослабляло юридическую зависимость этой области от Турции.

К сожалению, ограниченные рамки рецензии не позволяют обстоятельно проанализировать ту часть главы, в которой по-новому и оригинально освещается сербско-болгарская война, начатая королем Миланом в ноябре 1885 г. под предлогом нарушения status quo на Балканах в результате воссоединения кня-

жества с Восточной Румелией и серьезно обеспокоившая Европу угрозой разрастания конфликта до общерегиональных масштабов. Однако в этой связи заслуживает внимания отмеченный В. И. Косиным факт, что несмотря на победу Болгария продолжала жить под знаком опасности столкновения теперь уже не только с Сербией, но и Турцией. Автор сумел передать драматизм ситуации для тех ведущих болгарских политиков, которые пытались заручиться поддержкой официального Петербурга. Последний, столь длительное время отстаивавший положение монопольного покровителя княжества, теперь, демонстрируя свою несовместимость с А. Баттенбергом, занял позицию как бы стороннего наблюдателя. В итоге альтернатива насильственному устранению князя с престола для части военных и болгарской политической элиты становилась все более прозрачной. Эскалаторность ситуации потребовала от болгарского политического мира, где главными действующими лицами бесспорно стали С. Стамболов и П. Каравелов, ответа на вопрос: что будет с Болгарией и удастся ли ей выстоять в почти непосильных испытаниях? Отсюда попытки определиться в отношении А. Баттенберга: продолжать ли отстаивать его как олицетворение национального суверенитета (но это был путь конфронтации с Россией, избравшийся по началу Стамболовым) или же, как считал Каравелов, учитывая неравенство противоборствующих сил, защитить самостоятельность посредством компромисса с освободительницей, что значило пожертвовать фигурой князя.

Однако оба пути оказались обреченными. В первом случае, на мой взгляд, А. Баттенберг трезво оценил ставшую для него фатальной несовместимость с русским императором, а в самом факте его окончательного отречения можно усмотреть и нравственное начало — нежелание из-за своей персоны обрекать страну на новый виток конфликта с Россией. Второй же путь был нереализуем потому, что Россию удовлетворял не компромисс, а подчинение княжества, превалирующее влияние на которое она хотела закрепить любым способом, даже посредством избранного ею на последнем этапе диктата. Обстоятельства определили тре-

тый путь, реализовавшийся Стамбовым, что выходит за рамки темы монографии.

В целом автор достойно справился с поставленной задачей. Ему удалось выделить главное и принципиальное в калейдоскопе быстро менявшихся событий, негативный итог которых в развитии русско-болгарских отношений в рассматриваемый период подводится в заключительных главах «Последние иллюзии, переворот, контрпереворот и окончательное отречение князя» и «Миссия генерала Н. В. Каульбарса». Совершенно очевидно, что на болгарской почве столкнулись носители двух идей, которые вряд ли могли в одинаковой степени, к тому же одновременно воплощаться в отношениях между двумя государствами: идея славянской взаимности, в ее имперски-прагматической трактовке, практически отставалась русской дипломатией, но в тех условиях она не имела конкретного звучания для общества, материализовавшегося национальную идею в утверждении собственной государственности.

К сожалению, работе можно адресовать и некоторые претензии. Здесь встре-

чаются противоречия, неточности. К примеру, в вопросе о личности А. Баттенберга в разных местах приводятся противоречивые данные: в некоторых главах безкомментария предлагается материал, свидетельствующий о его популярности в обществе (с. 53), далее речь идет о том, что через воссоединение княжества с Румелией он имел возможность упрочить свой авторитет (с. 110), но при освещении переговоров о международном признании воссоединения утверждается противоположное — авторитет князя был невысок, что позволило политикам вести с ним двойную игру. Причем в последнем случае для аргументации используются факты, разрыв между которыми составляет более пяти лет (с. 129—130), что само по себе вызывает сомнения, учитывая существовавший динамизм событий. Немало в монографии и стилистических погрешностей.

Но все же не это главное. Перед нами результат большого, кропотливого и, бесспорно, заслуживающего уважения труда.

Маковецкая Т. Ф.

KRIVOSIĆ S. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. Dubrovnik, 1990, 202 s.

КРИВОШИЧ С. Население Дубровника и его демографические изменения в прошлом

Исследователи никак не могут договориться, сколько жителей населяло Дубровник в XV—XVI вв., в годы расцвета: 5—6 или 25—30 тысяч? С этого и начинается его книга С. Кривошича, известный исследователь проблем исторической демографии хорватских земель. Книжке предстоит стать первой в серии «Исследования по демографической истории Дубровницкой Республики», которая задумана в Дубровницком институте Югославянской Академии наук и искусств.

Работа С. Кривошича примечательна, во-первых, обилием богатого архивного материала, почерпнутого в знаменитом дубровницком хранилище; во-вторых, автор не ограничился каким-либо одним периодом, а, отправляясь от X, довел

свое исследование до середины XIX в. В книге речь идет и о сословной структуре общества, и об уровнях брачности, рождаемости и смертности, и о демографической политике городских властей. Если же вспомнить, что историко-демографическая урбанистика вообще не частая гостья в югославской историографии, то станет ясно, какого внимания заслуживает труд С. Кривошича.

Самую первую оценку книги дал ее научный редактор, академик Владимир Стипетич. Он поставил в заслугу автору тщательное использование книг церковно-приходского учета, так называемых «матица», отказ от традиционно высокой цифры погибших в 1667 г. (не 7, а 1,2 тыс.) обратил внимание на то, что демографи-

ческая история Республики неотделима от массовых миграций на Балканах. Особо внимания, по мысли В. Стипетича, заслуживает вывод С. Кривошича об удивительно долгожитии дубровчан, особенно их «средних слов». Любопытно, что автор книги этого не объясняет. Отметим эту его черту.

В книге четыре основных части — об общей численности населения (с. 13—52), о его структуре (с. 53—72), о его динамике (с. 73—115) и таблицы с цифровыми данными, извлеченными автором из архивов. Небольшие главки о переменах во время французской оккупации и о демографической политике властей завершают монографию.

Три исследовательских метода отчетливо проявились в книге С. Кривошича. Это — архивный поиск, статистико-демографический анализ, и метод заключений и обобщений, основанных на принципе историзма. Сводные таблицы в конце книги снабжены сравнительно скупными ссылками, но все же можно без труда установить, из каких «матриц» — приходских, приютских или больничных, автор заимствовал свои данные. Нет, к сожалению, характеристики матриц, есть лишь глухое упоминание, что все они «велись по-разному» (с. 89). Но все цифры, добытые автором с середины XVII в. по 1857 г. представлены полностью и открыты для проверки.

Количественной обработкой найденного материала, переводом его на язык таблиц и диаграмм особенно насыщен раздел III — «Естественная динамика населения». Невозможно, да и излишне перечислять результаты наблюдений над уровнем рождаемости и смертности, над их сезонными колебаниями, данными родственных связей. Урбанисты, надо полагать, сами заглянут в эти выкладки. А вот авторские обобщения имеет смысл процитировать. Рождаемость в городе, как правило, превышала смертность. В Дубровнике с его приютом, был хорошо поставлен учет внебрачных детей; за 33 года в приют поступило 94 подкидыша (с. 78). Детская смертность была ниже, чем, скажем, в Загребе раза в полтора. «Дубровник был городом с водопроводом, канализацией и больницей!» — восклицает автор (с. 85). Впрочем, там был и свой бич — малярия, гнездившаяся в соседнем Стоне.

Браки в Дубровнике заключались поздно, в XVIII в. мужчины женились в 40, а то и 50 лет, две трети юбилей умирали холостяками (с. 102). К сожалению, мало принятых отмечать наличие детей до 14 лет, зато в составе домохозяйства указывалась прислуга.

Оценим теперь исследовательскую методику Кривошича-историка. Каждый новый этап в работе начинается с размышлений: что же нужно выяснять? Автор умеет формулировать свои задачи в простой и четкой форме. Например, «что предпринимала дубровницкая власть, чтобы возместить убыль населения?» или «был ли Дубровник городом моряков» (с. 37, 66). Эти вопросы играют роль маяков и, подталкиваемое ими исследование успешно движется вперед. Другое дело, что автор иногда забывает с такой же четкостью ответить на заданные вопросы, но это, по-видимому, уже недостатки изложения.

Вернемся к теме, которая заявлена С. Кривошичем в самом начале работы: сколько же народу жило в городе? Нельзя не оценить той обстоятельности, с которой автор собрал все свидетельства на этот счет, от венецианских донесений XVI в. до переписей XIX в, что и позволило ему увидеть, что цифры эти относятся к разным объектам, первая — к населению самого города, а вторая — к населению всей республики. В этой ясности — бесспорная заслуга Кривошича. Но попутно возникло, что кое-кто из историков склонен насчитывать в городе не 5 или 6, а 10 тысяч жителей, и Кривошич ставит перед собой новую задачу — проверить, так ли это.

К сожалению, самый надежный источник по этому поводу, перепись населения не старше последней трети XVII в., а расцвет Дубровника относится к XV—XVI вв. И Кривошич вынужден прибегнуть к косвенным данным. Для начала он сопоставил подвергаемую сомнению цифру 10 000 со средневековой действительностью, ссылаясь на то, что в средневековой Европе города имели, как правило, меньше 5 000 жителей (мнение И. Кулишера), а 90—95% из них даже меньше 2 000 (мнение Э. Эннен). Стало быть, считает С. Кривошич, и Дубровник «не мог выходить из рамок средне-

ковых городов» (с. 25). Но, во-первых, эти цифры относятся к Европе до XVI в., а, во-вторых, и до XVI в. существовала Флоренция с 90 тыс. жителей и Венеция со 150. Да и сам Кривошич приводит цифры населения в Шибенике (6 350) и в Задаре (8 100), которые никак не входят в его картину. Таким образом, метод сопоставления с другими европейскими городами ничего не решает...

Более эффективен второй метод — проверка плотности городского населения. Иными словами, могли ли 10 тыс. человек разместиться внутри городских стен на площади 13,4 га? Ответ автора предельно ясен: нет, ни в пределах стен, ни в непосредственной близости от них эти десять тысяч жить не могли бы. Плотность в таком случае достигла бы 600 человек на один га, в то время, как в Вене она равнялась 210 и даже в Венеции лишь 325 человекам (с. 28). Этот вывод вызывает полное одобрение и остается только высказать несколько соображений о системе авторских доказательств.

Вряд ли стоило рассматривать вместе плотность населения в европейских городах и за XVII и за конец XVIII в. и даже за время Константина Багрянородного (с. 28—29). Сомнительны попытки М. Суича, на которые ссылается автор, исчислить размер городского пространства в Сплите и Трогире в X в. с точностью — 3,12 или 4,7 га. Кто может сказать, где строились убогие домишки горожан в такое далекое время? Сопоставлять городское развитие в Германии и в Средиземноморье рискованно, первые города имели много свободной земли под застройку, а вторые были прижаты к морю. Но внутри одного региона сходство было значительным. Например, в Германии — 143 человека на один га (Берлин), 156 (Эрфурт), 162 (Росток), 169 (Любек). Как же мог быть в Далмации такой перепад плотности, как между Задаром (170 человек) и Сплитом (600, по мысли Кривошича)? Это явное недоразумение.

Мы произвели столь подробный разбор проблемы о численности населения не только потому, что ею открывается книга, но и потому, что методы работы автора как историка раскрылись в данном случае особенно выразительно.

Заслуживает внимания, на мой взгляд,

попытка автора увидеть движение дубровницкого населения за несколько столетий (с. 49—52). Не везде, правда, он обосновывает свои цифры. Неясно, например, как могло население города за тридцать лет, с 1272 по 1299 г. вырасти почти в два раза, с 2 до 3,5 тыс. Но само стремление представить общество в количественном изменении похвально. Кривошич отдал дань и проблеме внешних воздействий на городское общество (с. 35—41). Ему стоило бы лишь заметить, что неурожаи не только уменьшали, но и увеличивали население Дубровника: масса голодающих крестьян из окрестных сел сбегалась в город. Успешно выполнена глава о подвижном населении — иностранцах в городах и дубровчанах вне города (с. 41—49). С. Кривошич добросовестно учел все предшествующие исследования (Д. Ковачевич-Коич, Д. Динич-Кнежевич, Б. Храбака).

Самые же серьезные трудности представила для Кривошича необходимость стратифицировать дубровницкое общество и эти трудности были объективного свойства: значительная часть горожан — «пучани», пополаны не нашла отражения в источниках и автор был вынужден посвятить им только двенадцать (!) строк (с. 63). А имущественная характеристика горожан оказалась вообще невозможной: в Дубровнике не проводились описи имущества, подлежащего обложению («эстимо»), как это было, например, во Флоренции. Поэтому Кривошич лишь вновь пересчитывает численность самого различного для исследователя слоя горожан — нобилитета. Не приходится сомневаться в точности итоговых цифр. Только последняя из них, относительная численность нобилитета вызывает сомнения. По расчетам С. Кривошича, она колеблется от 14% в середине XVIII в. до 20% в середине XV. Это напоминает цифру, которую когда-то называл А. Тейя для Сплита XIV в. — 25% и которая не нашла поддержки. Численность правящего слоя нигде в средневековой Европе, ни в городе, ни на селе, не достигала такого размера. Кривошичу достаточно было взглянуть на численность нобилей в соседней Венеции, которую Дубровник так напоминал. Впрочем, Кривошич и сам приводит венецианские данные, однако лишь для того, чтобы, фигуральнее выразиться,

воскликнуть: вот как это было в Венеции! Вместо того, чтобы задаться вопросом: а почему это так было?...

И, наконец, последнее соображение. Автор книги выказал и уважение к своим предшественникам-урбанистам и умение использовать их труды. Жаль, что это умение неполно. В частности С. Кривошич почти целиком проходит мимо работ советских исследователей (единственным исключением является статья Н. П. Мананчиковой о мануфактуре Петра Пантаелы). А между тем для знакомства с ними ему не требовалось и знания языка — в 1977 г. на страницах хорватской печати была опубликована обширная статья, специально посвященная тем сюжетам, которые занимают и С. Кривошича [1]. Увы! И она осталась вне его поля зрения...

Однако, как говорится, не эти частные недочеты определяют лицо работы. Его определяют огромный труд, сложенный в поиск и обобщение, аналитический подход к собранному материалу и созданная, в итоге картина демографической эволюции города. Опыт, который проделал Степан Кривошич, должен послужить отправной точкой для других исследователей городской истории.

Фрейденберг М.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Freidenberg M. M. Dinamika gradske strukture u Dalmaciji u XIV—XVI stoljeca.* — *Radovi Centra Jugoslavenske Akademije znanosti i ujetnosti u Zadru*, sv. 24. Zadar, 1977.

GEORG J. MORAVA. FRANZ PALACKÝ. Eine frühe Vision von Mitteleuropa. Wien, 1990, 244 S.

ГЕОРГ И. МОРАВА. ФРАНТИШЕК ПАЛАЦКИЙ. Раннее видение Центральной Европы

Коренное изменение межгосударственных отношений, становление демократии в Центральной и Восточной Европе закономерно усилило интерес к изучению и переосмыслению опыта политической мысли прошлого. Выход в свет книги Георга Моравы — результат этого процесса в исторической науке¹. Автор подчеркивает актуальность исследования размышлений Ф. Палацкого об «одностороннем расцвете деспотизма», неизбежном распаде Австро-Венгрии и ее захвате Германией, об «универсальной русской монархии», готовой поглотить малые европейские народы. Эти и другие взгляды Ф. Палацкого предвосхитили, по мнению Г. Моравы, современные реалии и требуют подробного анализа (S. 8).

С одной стороны, книга представляет собой традиционное биографическое опи-

сание. Материал располагается хронологически в 11 главах, соответствующих основным этапам жизни Палацкого. Но, с другой стороны, Г. Морава предлагает читателям по-новому взглянуть на проблему соотношения чешского национализма и общевосточного государственного сознания сквозь призму деятельности крупного чешского ученого и политика своего времени. Работа написана с привлечением широкого круга материалов из фондов чешских, австрийских и немецких архивов и библиотек.

Справедливо указывая на недостаточное количество опубликованных источников, Г. Морава неправомерно занижает, однако, уровень современных чешских исследований. По мнению Моравы, марксистская историография пытается представить Ф. Палацкого только как кабинетного ученого, игнорируя его заслуги в области национальной политики (S. 8). Но известно, что односторонние оценки Палацкого как «реакционера-консерватора» были преодолены еще в 60-е годы. А проявившийся в середине 70-х годов интерес к его теоретическому наследию

¹ Георг И. Моравы родился в 1932 г. в Брно, впоследствии эмигрировал из Чехословакии. В 1983 г. ему была присуждена ученая степень доктора философии в Иннсбрукском университете. Г. Моравы занимается изучением чешско-австрийских связей, выпустил ряд публикаций и книгу «Диссидент Карел Гавличек».

дал ощутимые результаты: появился ряд работ, посвященных государственно-правовым и национальным аспектам чешского феодализма, авторы которых неоднократно высказывали мысль о том, что австрославизм представлял собой модель переустройства Центральной Европы [1]. Поэтому основная идея книги Г. Морава не нова, но ему удалось рельефно высветить именно эту грань политического мышления Ф. Палацкого, что придало исследованию несомненную оригинальность. Остановимся на некоторых неоспоримых рассуждениях автора, которые представляют интерес и для отечественной богемистики.

Первое. В книге последовательно рассматривается формирование общественно-политических воззрений Ф. Палацкого. На рубеже 20-х годов он стал задумываться над тем, что национальное сознание малых народов подвергается преследованию из-за «непреодолимого эгоизма» представителей правящего народа (S. 38—40). К началу 40-х годов он отчетливо осознал, что основная тенденция времени — это вопрос о национальности (S. 104). Послание Фанкфуртскому парламенту 1848 г. было, как считает Г. Морава, первым выступлением Палацкого как австрийского государственного деятеля и политика европейского уровня. Последующие его статьи в 40—50-е годы, а также цельное изложение чешской программы в «Идее государства австрийского» — вехи на пути окончательного формирования федералистской концепции. Как и чешские историки, Г. Морава видит в ней реакцию чешской интеллигенции и всех патриотических сил на нараставшее великогерманское объединительное движение (S. 132—134). Австрославизм предполагал, по существу, создание «дунайской конфедерации», подобной североамериканским штатам или швейцарским кантонам (S. 8). Преобразованная австрийская империя, которая представляла бы собой блок «малых» народов, скрепленный внешней государственной оболочкой, явилась бы третьей силой в Центральной Европе, сдерживающей гегемонизм Германии и России. Г. Морава подчеркивает, что Палацкий не только первым выдвинул идею реформирования Австрийского государства на основе принципов конституционного ра-

венства и национальной автономии, но и попытался осмыслить общность политических интересов народов, живущих в Центральной Европе. Можно согласиться с мнением автора, что австрославистская концепция была не следствием ограниченности и пассивности чешских либералов, а скорее попыткой выработать оптимальное, бескровное решение национального вопроса. Без сомнения, это было важное явление в истории европейской общественной мысли. К сожалению, автор не поставил цель выявить источники этой идеи, ведь Ф. Палацкий и К. Гавличек использовали опыт различных политических теорий. Кроме того, элементы австрославизма прослеживаются еще в концепции славянской взаимности, сформулированной в 30-е годы Я. Колларом, которую Г. Морава односторонне характеризует как расплывчатый и далекий от жизни панславизм (S. 115).

В книге программа федерализма рассматривается не только как стремление сохранить национальную самобытность чешского народа, но прежде всего как концепция центральноевропейской безопасности. В пользу этого тезиса свидетельствует, к примеру, поездка Ф. Палацкого и Ф. Ригера в Париж и в Россию на славянский съезд весной 1867 г., когда стало очевидным поражение федералистов. Г. Морава не обращает особого внимания на это обстоятельство. Между тем чешские политики впервые пытались выступить с собственной внешнеполитической концепцией, стремясь привлечь к ней внимание правительств Франции и России в условиях развивавшегося франко-прусского конфликта [2]. В этой ситуации лидеры старочехов действовали как европейские политики, неразрывно связывая вопрос о федерализации Австрии с сохранением политического равновесия в Центральной Европе. В советских исследованиях сложилась практика рассматривать центробежную тенденцию в качестве критерия политической зрелости национальных движений австрийских народов. Но остается открытым вопрос о том, насколько реальна и целесообразна была идея государственности для народов, населявших австрийскую империю, когда в Европе шла борьба за сферы влияния между великими державами.

В то же время Г. Морава, акцентируя европейское значение федералистской программы, уходит от вопроса с возможностью ее осуществления в середине XIX в. В книге вскользь упоминается о встрече в Вене в 1866 г. чешских, польских и хорватских политиков, показавшей несогласованность их устремлений, различное понимание принципа деления государства на этно-национальные административные единицы. Различное понимание национальных интересов сделало невозможным создание сильного федералистского парламентского большинства, на которое так надеялись чешские политики. Эта встреча, по существу, предопределила окончательное поражение федерализма [3]. С другой стороны, сильное венгерское движение и австро-немецкие политические круги не признавали чешского федерализма. События 1871 г. со всей очевидностью показали, что консервативные силы в империи не допустят начала процесса федерализации. Мысль Палацкого о центральноевропейской федерации обогнала свое время. Это была идеальная гуманная модель преобразования европейских отношений, которая разрешала вопрос о национальном самостоятельном развитии малых народов, но она была несвоевременна и неперспективна в качестве единой программы чешского движения.

Второе. В книге большое внимание уделяется рассмотрению чешско-немецких отношений. Автором собраны многочисленные отклики в германской и австро-немецкой прессе на сочинения Ф. Палацкого и его политические выступления. Материалы, опубликованные в монографии, свидетельствуют о неоднозначном отношении к Палацкому и в целом к чешскому движению его немецких современников. Раздел о европейской известности Ф. Палацкого еще более выиграл бы, если бы были привлечены сведения о его связях с Россией. Но Г. Морава не ставил такой задачи. Как представляется, Палацкий был далек от русофильского направления. Будучи прагматичным политиком, он пытался определить возможных союзников среди европейских государств. Палацкий был убежден, что в будущем Россия станет решающей силой в европейской дипломатии. В своих оценках он исходил не из славянской взаим-

ности (в 50—60-е годы его работам вообще была несвойственна славянская риторика), а из политических расчетов. С другой стороны, сохранившиеся многочисленные сведения о его контактах с русскими учеными, общественными и государственными деятелями позволяют значительно обогатить представление о его научной и политической деятельности. Тем более, что в России было опубликовано много откликов на его труды, биографических очерков. До настоящего времени проблема «Ф. Палацкий и Россия» остается нераскрытой. В чешской историографии она принимала различные трактовки в зависимости от политической ситуации. Трудно согласиться с мнением, что Ф. Палацкий отрицательно относился к России, видя в ней только деспотичное экспансионистское государство [4].

Третье. Несомненным достоинством монографии является острая постановка Г. Моравой вопроса о роли чешского исторического дворянства. Фактический материал, приводимый им, убедительно свидетельствует, что определенная часть аристократии (графы Клам-Мартинцы, Лобковицы, Туны, Кинские и др.) не только материально поддерживала патриотов-интеллектуалов и финансировала культурно-просветительские акции, но и пыталась осмыслить свою роль в развитии чешского народа. Г. Морава, к примеру, упоминает о ряде собраний чешских дворян в феврале — марте 1843 г., на которых выступал Ф. Палацкий и обсуждались вопросы о необходимости содействия распространению национального сознания в широких слоях общества, а также защиты прав чешского народа перед центральной властью (s. 103). Как представляется, теория неполной социальной структуры чешского общества нуждается в корректировании, о чем свидетельствуют и результаты современных социальных исследований. К примеру, в монографии М. Гроха указывается на сравнительно высокую степень участия исторического дворянства в национальном движении, особенно в период 30—60-х годов XIX в. [5].

В целом нужно подчеркнуть, что монография Г. Моравы, написанная с подлинной научной увлеченностью, на высоком профессиональном уровне, представляет собой многоплановый биографи-

ческий труд, который дает импульс к дальнейшему исследованию не только деятельности Ф. Палацко, но и всего комплекса проблем, связанных с развитием общественно-политической мысли народов австрийской империи в XIX в.

Лебедева О. В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Slovanství v národním životě Čechů a Slováků. Praha, 1968; *Sesták M.* Pálackého «idea státu rakouského». — Slovanický Přehled, 1976, № 3, s. 177—195; *Sesták M.* K stároprávnímu aspektu českého národního obrození. — In: Myšlenkový vývoj Čechů, Slováků a Jihoslovanů od poloviny 18. století do buržoazní revoluce 1848—1849. Praha, 1985, s. 369—390; *Kolář F.* Česká buržoazie a řešení «české otázky» (1848—1914). — In: Sborník k dějinám 19. a 20. století, 10. Praha, 1986, s. 57—107.
2. *Urban O.* Česká společnost 1848—1918. Praha, 1982, s. 228.
3. *Havránek J.* Česká politika, konzervativní aristokrate a uspořádání poměrů v habsburské říši v letech 1860—1867. — Historický sborník, 1960, t. 16, s. 81—84; *Sesták M.* Češi a Jihoslované v habsburské monarchii v letech 1850—1890. — In: Češi a Jihoslované v minulosti. Praha, 1975, s. 419—423.
4. *Hanzal J.* Od rusofilství k češství: Pálacký — Havlíček. — Slovanický Přehled, 1990, № 4, s. 260—262.
5. *Hroch M.* Evropská národní hnutí v 19. století. Praha, 1986, s. 296—297.

Д. С. ПРОКОФЬЕВА. «Струн вещей пламенные звуки...». М., 1990, 144 с.

Проблемы межлитературного взаимодействия по-прежнему остаются в центре внимания ученых. И в том нет ничего удивительного. Ведь это взаимодействие, по сути дела, наиболее полно отражает родовое свойство — имманентную процессуальность, текучесть, динамику литературной жизни, никак не замыкающейся в пределах даже самых широких течений или творческих школ, перерастающей воображаемые резко оконтуренные рамки, границы этно-географического региона своего распространения, или принадлежности определенной культурной традиции.

Изучение литературных контактов (которые при всем своем впечатляющем многообразии, как правило, свидетельствуют о зрелости национальных художественных достижений) позволяет в их внешних пересечениях увидеть как несомненную контрастирующую самобытность, так и не исключаящую последнюю, некую духовно созидательную общность попеременно выступающих в ролях передающих-воспринимающих субъектов двух (и более) литератур. Тем самым появляется возможность выйти на уровень осмысления сложной диалектики общекультурных процессов, где даже в самом незначительном эпизоде присутствует случайность случайного, ибо практически любой такой эпизод может и должен

по императиву смысловой полноты рассматриваться еще и как перекрываемое своим контекстом частное звено пестро-многоликой единой парадигмы объективной эстетической закономерности.

В довольно-таки весомый потенциал трудов, затрагивающих вопросы связей литератур Польши и России [1], влилось новое исследование Д. С. Прокофьевой «Струн вещей пламенные звуки...». Монография, как явствует из апеллирующего к нашей художественной памяти заглавия, поднимает комплекс данных вопросов главным образом на малозвестных или совсем новых материалах столь богатого важнейшими историко-общественными событиями и творческими дарованиями первой величины времени, каким была романтическая эпоха. Она отдалена от нас без малого двумя столетиями. Но это не пропасть. Ведь именно тогда активно формировались национальные культуры славян и развивались их литературные языки и те социальные, философские и эстетические учения, которые оказали самое непосредственное влияние на весь XIX в., чье силовое поле настолько ощутимо простирается на сегодняшний день, что дает все основания считать эту эпоху «духовной родиной современного европейца» (Ж. П. Сартр).

Рецензируемая монография — плод многолетних научных занятий автора —

своего рода продолжение и развитие опубликованных ранее работ [2]. В этом и более общем значении слова она является этапным трудом.

Рецензируемая книга обладает рядом несомненных достоинств, к числу каких в первую очередь необходимо отнести отвечающие самым взыскательным требованиям широту охвата предмета, скрупулезную «проработанность» деталей, значительную долю исследовательской свежести (особенно там, где вводятся ранее не известные архивные документы, — главы «Рукописная поэзия и литературные связи», «Литературная „контрабанда“ (издатели и книготорговцы — посредники в литературных связях)» и др.), а также — хорошее историко-литературное и источниковедческое владение привлекаемым весьма обильным эмпирическим материалом, что позволяет излагать его совершенно свободно, видеть за единичным — закономерную связь, идти от частных наблюдений к постижению того, что можно было бы назвать «эстетическим ареалом», улавливать и сферу его распространения, и токи его опосредованного воздействия, чтобы при их помощи еще раз измерить значимость затронутых подробностей, акцентируемых на фоне романтического движения, революционного подъема двух народов.

Д. С. Прокофьеву преимущественно интересуют формы поэтических взаимопроникновений польской и русской литератур — переводы, реминисценции, аллюзии, реплики, парафразы, подражания, творческие соприкосновения в рукописной литературе и изданиях (ключевые имена здесь А. Мицкевич, А. С. Пушкин, В. Г. Бенедиктов, Ц. К. Норвид, А. А. Шишков, Т. Лада-Заблокский, А. И. Одоевский, В. Стишляницкий, А. А. Бестужев-Марлинский, Н. В. Берг и др.). Однако по мере необходимости в общую картину, не парушая ее внутренней логики, а сообщая ей как бы новое измерение, включается и анализ межлитературных восприятий эпического творчества (глава «Восприятие прозы А. А. Бестужева-Марлинского в Польше»).

Учитывая почти предельную фактографическую сгущенность книги, следует должным образом оценить достигаемое в ней равновесие между приведенными

фактами и их теоретическим осмыслением, между ясностью и вместе с тем серьезностью изложения. За всем этим ощущается большая подготовительная работа по отбору, систематизации и интерпретации суммы самых разнообразных сведений, причем не только из области литературы. Привлеченный автором материал перестает быть просто россыпью подробностей жизни польских и русских литературных кругов, но в то же время и не нивелируется в своей детализированности, когда используется для аргументации общих проблем. Более того: после знакомства с этой работой остается устойчивое впечатление, что ее структура не порождена чисто умозрительным (априорным) путем, когда заготавливается некий набор удобных в использовании шаблонов и уже под него подгоняется вся эмпирика. Чтение данной книги на главы имеет принципиально иной механизм. Его можно было бы уподобить росту кристалла, поражающего наше воображение своей строгой симметрией, грани которого рождаются совершенно естественно сами по себе, без какого-либо грубого вмешательства извне. Если же пойти по пути приведенного сравнения дальше, то можно сказать, что «симметричность» определенного рода вполне просматривается и в проблемно-тематическом построении сочинения Д. С. Прокофьевой, где главы, взаимодополняясь, словно бы отражаются друг в друге и в причудливом соединении их плоскостей возникает *объемность* воспроизводимых литературных отношений.

Так, первая глава, где преимущественно идет речь о русских переводах из Мицкевича, перекликается со второй, повествующей о рецепции Марлинского в Польше. В свою очередь третья — «Кавказская группа» польских поэтов (личные контакты, подражания, переводы) открывает совершенно специфическую в региональном и духовно-культурном аспектах страницу польско-русских художественных связей. Аналогичная внутренняя перекличка возникает между последними главами: в четвертой затрагиваются проблемы функционирования запрещенной рукописной литературы, «самиздата» прошлого века; в пятой освещается роль издателей и книготорговцев в распространении запрещен

ных произведений, т. е. проблема бытования такого рода художественного текста в период жесточайшей цензуры обрисована еще в одной своей грани. В конечном счете книга включает в себя «...двуплановость литературной жизни, легальной и нелегальной» (с. 7), и в этом реальном дуализме той поры, пожалуй, наиболее ярко виден пафос подвига и трагизм тех, кто талантом и гражданским долгом был призван «глаголом жечь сердца людей».

Говоря о принципах построения исследования, следует отметить еще одну особенность. Каждая из упомянутых глав имеет свою небольшую подглаву, где на несколько ином уровне и на более частном материале эмпирически подкрепляются сделанные автором выше теоретические заключения. Роль этих подглав посвоему важна; можно согласиться с исследовательницей, считающей полезным «выделить и отдельные, пусть мелкие, явления, присмотреться к ним пристальнее, как бы взять под микроскоп, и увидеть в них отражение больших закономерностей» (с. 6).

В целом данная работа содержит достаточно широкий и, главное, разносторонний спектр затрагиваемых проблем. Она добротна аргументирована, снабжена внушительным библиографическим аппаратом. В то же время в ней нет ни сухости, ни педантизма, нередко встречающихся в исследованиях такого рода. Здесь конкретика свободно и непринужденно соединяется с теоретической рефлексией, и от такого союза обе только выигрывают. Д. С. Прокофьевой удалось найти если не новые подходы, то во всяком случае новые краски в освещении таких сугубо романтических проявлений, как имидж поэта-пророка, функционирование поэтического образного кода, пафос революционного обновления мира, ориенталистические устремления литераторов и пр.

Это не означает, разумеется, что книга лишена просчетов или издержек. Но если ее достоинства очевидны, то недостатки приходится искать. С нашей точки зрения (пусть это и прозвучит несколько парадоксально) эти недостатки суть производное от достоинств книги. Иными словами, будучи в пределах заданной главными тематикой по духу и букве почти

энциклопедическим сочинением, рецензируемая книга порой являет досадную неполноту — случается, выпадают звенья прослеживаемых «цепочек» литературных контактных связей или же эти «цепочки» предстают неоправданно короткими, урезанными. Возможно, это объясняется малым объемом книги, или редакторскими сокращениями, но лишь в какой-то мере. Скажем, говоря о «вольном переложении „Леноры“ Г. А. Бюргера» (с. 18), осуществленном П. А. Катениным, исследовательница в контексте собственных рассуждений о допустимости вольностей в переводах тех лет (Катенин назвал свое творение «Ольга») как-то упускает из виду, что заимствованный Бюргером из народных легенд сюжет получил подлинную европейскую распространенность — среди других писателей его свободные переложения (под другими заглавиями) встречаются у англичанина В. Скотта, словенца Ф. Прешерна, русского В. А. Жуковского. К слову, имя последнего возникает в книге Д. С. Прокофьевой абзацем выше, когда упоминается перевод его «Светланы» А. Э. Одынцом.

В интересной по замыслу и воплощению подглаве «История одного эпитафия» делается попытка восстановить причины появления у Ц. Норвида заимствованного из «Кавказских очерков» Марлинского эпитафия к кристополитическому стихотворению «Ночь». Это отправная точка к восстановлению достаточно широкого контекста реакции позднего польского романтика на революционные события у себя на родине и в России. Думается, данный контекст был бы более полным, когда бы при подготовке были учтены другие норвидовские стихи с «русской» проблематикой — «Бунтари», «Насильникам прав...», «Публицистам Москвы», «Москалям-Славянам», а также появившиеся на эту тему специальные работы В. Торуня [3] и А. Явора [4].

Аналогичное замечание адресуется тем страницам исследования Д. С. Прокофьевой, которые освещают место и роль в литературной жизни первой половины XIX в. самообразовательных литературных кружков (с. 99—101 и др.), поскольку здесь если и не выпадает вовсе из общего разговора, то отодвигается на совершенно далекий план информация о

функционировании литературных салонов, фермировавших художественные вкусы и влиявших на культурный климат эпохи не меньше, а в чем-то гораздо интенсивнее, чем полуконспиративные с ограниченным доступом людей кружки.

И еще одно. Обильный фактографический материал, как указывалось, цементирует книгу в единое целое; он познавателен уже в самой своей «зернистости», детализированности. Однако читателю далеко не всегда просто его усвоить по причине отсутствия указателя имен — от его наличия работа бы заметно выиграла.

Тем не менее, оценивая сделанное, можно смело констатировать: на книжной полке слависта существенное приращение, вышедшему исследованию не суждено запылиться.

Василенко В. Н.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берков П. Н. Русско-польские литературные связи в XVIII в. М., 1958; Богомолова Н. А. Польские и русские поэты XX в.: Творческие связи. Аналогии. Художественный перевод. М., 1987; Булазовська Ю. Л.
2. Стазеев Б. Ф. Мицкевич и прогрессивная русская общественность. М., 1955; Боровой С. Я. Мицкевич накануне восстания декабристов. М., 1956; Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973.
3. Toruń W. Norwid a Rosja. — Znak, 1986, № 10, s. 53—67.
4. Jawor A. Rosja w lirycie Cypriana Kamila Norwida. — Przegląd rusystyczny, 1968, z. 1, s. 105—113.

SZEMERENYI O. An des Quellen des lateinischen Wortschatzes. Innsbruck, 1989, 192 S.

СЕМЕРЕНЬИ О. К источникам латинской лексики

Сама формулировка целей исследования Освальда Семереньи обнаруживает характерное для этого ученого внимание к принципам и возможностям этимологического анализа. Во «Введении» автор сообщает (S. 21) о своем намерении на ряде «поучительных примеров» показать, во-первых, каким образом могут выявляться мнимо утраченные элементы исконной латинской лексики и, во-вторых, насколько важно при этимологизации точно определить все компоненты производного или сложного слова; в-третьих, наконец, автор задается целью продемонстрировать, что изучение заимствованного фонда латыни еще далеко не исчерпало своих ресурсов — на примере поисков источника заимствования в греческом, кельтском или семитском мате-

Прогресивна польська поезія в її зв'язках з російською та українською літературами (1940—1955). Київ, 1964; Кушаков А. Из истории русско-польских литературных связей второй половины XIX — начала XX в. Орел, 1969; Цыбенко Е. Э. Из истории польско-русских литературных связей XIX—XX вв. М., 1978; Польско-русские литературные связи. М., 1970; Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX в. М., 1989; Białokozowicz B. Z dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX w. Warszawa, 1971; Matlak-Piwowarowa D. Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822—1863. Wrocław, 1977; Spotkania literackie: Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romanizmu i neoromantyzmu. Wrocław, 1973; Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa, 1958.

2. Стазеев Б. Ф. Мицкевич и прогрессивная русская общественность. М., 1955; Боровой С. Я. Мицкевич накануне восстания декабристов. М., 1956; Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973.
3. Toruń W. Norwid a Rosja. — Znak, 1986, № 10, s. 53—67.
4. Jawor A. Rosja w lirycie Cypriana Kamila Norwida. — Przegląd rusystyczny, 1968, z. 1, s. 105—113.

риале. Каждой из поставленных целей соответствует отдельная глава монографии. Научный оптимизм исследования, широта реализуемого в нем подхода и тщательность разработки как латинских, так и индоевропейских данных, делают его более весомым, чем частное этимологическое исследование по одному из индоевропейских языков.

Соответственно, значимость рецензируемого труда для славянской этимологии не может быть измерена несколькими лексемами, представленными в балтославянском разделе заключающего монографию указателя (ст.-слав. jakъ, kakъ, loza, lъvъ, takъ, vѣtii, слав. vель, veliko-, židov-, а также лит. mergà). «Сплошное» чтение книги, которое мы и хотели бы порекомендовать этимологу-слависту, оз-

накомит его с образцами высокой техники этимологического анализа, способного добиваться прогресса даже при обращении к фактам, изучение которых кажется достигшим некоего предела. Книга О. Семереньи, вместе с тем, способна вызвать некоторые прямые аналогии со славистической проблематикой и новые импульсы к исследованию последней. Немаловажны — при всей их немногочисленности — этимологические импликации, затрагивающие конкретные славянские факты (существенно, что балто-славянский раздел указателя к монографии, по существу, вполне может быть расширен и отчасти уточнен, см. ниже). Далее приводятся некоторые наблюдения, возникшие у нас при ознакомлении с рецензируемым трудом.

Обсуждая во «Введении» (S. 17—20) понятия исконного и заимствованного лексического фонда, О. Семереньи указывает, что для латинского словаря в его полном объеме пока не выполнены статистические подсчеты, показывающие количественное соотношение «Erbwörter» и «Lehnwörter». Соответствующие подсчеты, насколько нам известно, пока отсутствуют и для праславянского словаря, хотя они могли бы обогатить наши представления о нем. Внимание слависта не может не привлечь также упоминаемая автором проблема выделения основного словарного запаса («Grundwortschatz») отдельных индоевропейских языков и самого индоевропейского, которую он квалифицирует как весьма важную (S. 19). Подобную проблему (по крайней мере, возможность ее постановки) было бы полезно обсудить и для праславянского, приняв во внимание ставшую теперь очевидной «пестроту и лексическую разобщенность праславянских диалектов» [1, с. 8—9]. Интересно, что Семереньи вслед за некоторыми учеными определяет примерный объем «Grundwortschatz» а цифрой порядка 5000 лексических единиц — той же самой, которой около 30 лет определялось о б щ е е количество единиц праславянского лексического фонда [2, с. 170].

Теоретические воззрения, на которые опирается этимологическая практика автора, вполне эксплицитно связаны с его известными принципами этимологического исследования [3] и развивают их.

Приводя в «Послесловии» итоги своих разысканий (S. 185). О. Семереньи подчеркивает необходимость всякий раз задаваться вопросом, могло ли существовать в праязыке обозначение соответствующего понятия. В случае, если реконструкция такого обозначения надежно подтверждается данными языков-потомков и, в то же время, отсутствует в одном из них, следует выяснить, не является ли утрата мнимой и не скрывается ли «утраченная» лексема в каком-то слове, не нашедшем удовлетворительного объяснения (S. 15). Примером может служить новая этимология лат. vitrum 'стекло' (S. 24—26), позволяющая, как будто, видеть в этом слове еще одно продолжение и.-е. *ued-r- 'вода' (греч. ὄβριά 'ведро для воды' и т. п.) resp. еще одно соответствие не упоминаемого в тексте слав. *vedro / *vědro (ср. 4, т. I, с. 282—283): *vitrum < *vetrom < *ued-r-. Семантическое развитие 'вода' > 'стекло' получает типологическое подтверждение, снимающее всякие подозрения относительно его «необычности» [5, с. 12], ср. отражение иран. *āp-aka 'похожий на воду' в осет. avg ~ avgæ 'стекло, бутылка' и т. п.

Лишь намеком упоминается (S. 30) слав. *mok'tь < *mog'tь 'мощь', для которого, как и для герм. *mahtiz 'то же', Семереньи обнаруживает новое соответствие в лат. macte (virtute) собственно '(будь наделен) мощью (и мужеством)': macte — аблатив от исчезнувшего имени, восходящего к и.-е. *magh-to- 'мощный'.

В аргументации, подтверждающей переход и.-е. *цо > лат. va- заметное место занимает слав. *vel-, *velikъ (jъ) (S. 84; у автора преподносится как «slav.» рус. velikij; разбор слав. *veliko- на S. 150 в указателе не отмечен). Именно славянские данные, сравниваемые с лат. valeō 'быть здоровым, сильным' и др., позволяют Семереньи предполагать для valeō исходное *цол- (*цel-). При всей многочисленности возможных индоевропейских параллелей слав. *vel-, *velikъ [4, т. I, с. 288—289], их отношения имеют корневой характер, ср. [6]. В этой связи не лишено интереса сближение *veliko- и греч. ἐλιξωψ (< *Fελιξωψ, по автору — 'большезлазый', S. 150), конечно, не свободное от затруднений и не учи-

тывающее, надо заметить, слав. *velьkъ (чеш. velký и проч.).

В трактовке лат. vātēs 'прорицатель, провидец, пророк, поэт' и его индоевропейских параллелей (S. 125—128) наибольший интерес представляет новая версия заимствования этого слова из кельтского, где и.-е. *vōti-, дериват реконструируемого автором *cet- 'говорить, возвещать', закономерно дает *vāti-. Ст.-слав. vētīi 'оратор, вития' объясняется из *vēti- от того же *cet-. Предлагавшаяся В. Н. Топоровым этимология vētīi < *vēti- < *vē- 'дуть', как и ее модификация у О. Н. Трубачева, отклоняется О. Семереньи на семантических основаниях. Проявившийся здесь ригористический подход к значению отчасти возвращает на позиции старой этимологии *вѣтѣи*, сблизившей это слово с прус. waitiāt 'говорить' и проч. [4, т. I, с. 305, 322].

Анализ лат. leō, ст.-слав. лѡвъ (S. 136—138) вполне убедительно показывает, что источником заимствования слав. *lьvъ было незасвидетельствованное гот. *liwa, а не др.-в.-нем. lewo, как считается обычно (ср. и [7, вып. 17, с. 206]). Аргументы О. Семереньи свидетельствуют против объяснения слав. *lьvъ из герм. *liuца [8, т. II, с. 507—508] и против реконструкции общегерманского и общиндоевропейского (*leu-) названий льва.

Оригинальное, хотя, вероятно, и не лучшее из возможных — объяснение ст.-слав. какъ, такъ, jakъ из и.-е. *k^uo-ok^uo-, *to-ok^uo-, *jo-ok^uo- (S. 152), выдвигавшееся автором еще в 1960 г., к сожалению, оставлено без внимания в новейших этимологических словарях славянских языков [7, вып. 8, с. 171; вып. 9, с. 118—119; 9, Sv. II, с. 331—335, 338—339, 634—641].

Мимоходом касаясь слав. *loza (S. 170), автор считается с возможностью родства этой лексемы с перс. газ 'виноградная лоза', парф. gazkar 'винодел' и др., осторожно допуская исходное и.-е. *l — g'(h)-. Между тем, данная точка зрения разработана весьма подробно [8, т. II, с. 119—120; 10, т. V, с. 52].

Развиваемая Семереньи концепция семитского происхождения ряда терминов виноградарства и виноделия (лат. gascēsus 'виноградная кисть, гроздь; виноград, виноградное вино' и др.,

S. 163—170) включает соответствующие аргументы, касающиеся основного индоевропейского названия вина — лат. vīnum и др. (ср. араб. wajn и проч.). Критическая сторона этой версии, выдвигавшейся еще в прошлом веке [11, S. 318—319], нацелена, главным образом, против распространенной реконструкции и.-е. *weino- / *woino- 'вино' как деривата и.-е. *we- 'вить, плести' (см. в последнее время [8, т. II, с. 647—650]). Автор подчеркивает, вслед за В. Хеном, что между названием напитка и семантикой 'вить, плести' существует «непреодолимая пропасть» и даже считает возможным указать на всякий случай другое направление поисков индоевропейской этимологии — к и.-е. *wod- 'вода': *wod-jo- > *wojjo- + суффикс -no- > *woi(ji)no-, ср. к семантике рус. *водка*, англ. fire water и т. п. (S. 167—168). Искусственность этих построений О. Семереньи достаточно очевидна, как, впрочем, и некоторая статичность его понимания значения 'вино', которое может быть вторичным, восходя к первоначальному 'плод вьющегося растения', о чем не раз писалось ([8, т. II, с. 650], см. здесь же о заимствовании индоевропейского термина в семит. *wain- и др.). К сожалению, автор не учитывает анализа отношений и.-е. *u(o)jn- и семит. *wajn-, осуществленного В. М. Иллч-Свитычем, предполагавшим заимствование из семитского в индоевропейский, в частности, исходя из того, что *u(o)jn- имеет необычную для индоевропейского структуру корня (сочетание двух сонантов [12, с. 58]). Этот аргумент снимается, однако, если принять членение *we'oi-jn-.

Аникин А. Е.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трубачев О. Н. Праславянская лексикография. — В кн.: Этимология. 1983. М., 1985.
2. Трубачев О. Н. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи). — В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. М., 1963.
3. Szemerényi O. Principles of etymological research in the Indo-European languages. — In: II Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 1962.
4. Фасмер С. Этимологический словарь

- русского языка. 2-е изд. Т. I—IV. М., 1986.
5. Семереньи О. Славянская этимология на индоевропейском фоне. — Вопросы языкознания, 1967, № 4.
 6. Хелимский Е. А. **vele*, **bolje*. — Советское славяноведение, 1988, № 4.
 7. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—17. М., 1974—1990.
 8. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I—II. Тбилиси, 1984.
 9. Etymologický slovník slovanských jazyků. Slová gramatická a zájmena. Sv. I—II. Praha, 1973, 1980.
 10. Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. Т. I (A—D), II (E—H), III (I—K), IV (K — L), V (L). М., 1975—1990.
 11. Müller Fr. Über *oīvos vinum* und *vēnas*. — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, Bd. X. 1861.
 12. Иллич-Свитыч В. М. Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. Этюды по сравнительной грамматике индоевропейских языков. М., 1964.

ПУБЛИКАЦИИ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ С. Б. БЕРНШТЕЙНА

Слависты отметили восьмидесятилетие Самуила Борисовича Бернштейна серией приуроченных к этому событию публикаций, ставших выражением признательности ученому, многогранная исследовательская, организационная и педагогическая деятельность которого является одним из движущих факторов и определяющих компонентов прогресса отечественного и европейского славяноведения середины и второй половины XX в.

В содержании первого в 1991 г. номера «Вестника Московского университета. Филология» доминирует в связи с этим славистическая тематика. Такая ориентированность задана вводной статьей К. В. Горшковой и В. П. Гудкова «Жизнь в науке и для науки (к 80-летию С. Б. Бернштейна)». За ней следуют работы Р. П. Усиковой «Состояние и проблемы македонской лексикографии» и Н. Е. Ананьевой «Польские говоры на территории СССР (лексический и картографический аспекты)», в которых авторы не преминули отметить вклад своего учителя и научного руководителя в лингвистическую македонистику и полонистику, и статья Е. З. Цыбенко «Кукла» Болеслава Пруса и «„Анна Каренина“ Льва Толстого».

В первом же за 1991 г. номере «Советского славяноведения» Г. К. Венедиктов опубликовал под заглавием «Восемьдесят лет старейшине советских славистов» обширный библиографический очерк, достоверно представляющий жизненный путь и многообразие творческих заслуг

и достижений С. Б. Бернштейна. Работам Г. К. Венедиктова свойственна безупречная, почти эталонная точность презентации фактических данных. Это характерно и для данной публикации, и тем более нуждается в исправлении одна хронологическая погрешность (вероятно, опечатка): С. Б. Бернштейн оставил заведование кафедрой МГУ в 1970 г., а не пятью годами позже (с. 69).

Усилиями работников Института славяноведения и балканистики АН СССР к юбилею С. Б. Бернштейна подготовлен и в 1991 г. выпущен в свет сборник статей «*Studia slavica*» (374 с.) Опубликованные в нем материалы сгруппированы в три раздела: библиографический, содержащий перечень трудов С. Б. Бернштейна за 1970—1990 гг., список печатных откликов на его работы и статью Н. И. Толстого «60 лет служения славистике»; статьи по славянскому языкознанию и лингвостатистике; статьи по истории славянских литератур, по вопросам истории славян и истории науки. Сборник исполнен как внутринститутское издание, единственный автор «со стороны» — восточногерманский славист, в прошлом аспирант С. Б. Бернштейна Р. Эккерт.

Комбинация объективных библиографических сведений и компетентных оценочных суждений Н. И. Толстого дает всестороннее представление о научной биографии выдающегося деятеля славистики, обширнейшем диапазоне его занятий, величии его творческих достижений

в разных областях науки, о его непревзойденных заслугах в воспитании и обучении славистов-исследователей и преподавателей славянских языков. Уместно выделить одно из основных положений статьи Н. И. Толстого: тезис о постоянстве как доминантном свойстве нравственного облика С. Б. Бернштейна. Утверждается, что мало кому из современных славистов удалось пройти свой путь в науке «столь последовательно, с такой верностью своей специальности и профессии, с таким пониманием своего научного долга» (с. 19). С этим созвучна признательность Р. Эккерта, написавшего об исторической роли С. Б. Бернштейна: «Только теперь мы осознаем всю значительность его многогранной деятельности в сохранении и развитии лучших традиций русского языковедения вопреки всем трудностям и опасностям нашего жестокого века» (с. 30).

Двадцать три статьи и заметки, составляющие раздел, озаглавленный «Языкознание», могут быть для удобства обозрения разверстаны по объекту исследования и описания в несколько более или менее определенных совокупностей.

В значительной группе работ анализируется языковой, преимущественно лексический материал в сопряжении с общими проблемами межъязыковых отношений в карпатской и славяно-балтийской зонах, в связи с изучением народной обрядности, ее атрибутов и терминов, а также в рамках исторической лексикологии болгарского языка. В статье «Еще раз о названии Волга» В. Н. Топоров, обратившись к не имеющему удовлетворительной этимологии имени и оперируя накопленными в новейшее время этноисторическими и лингвистическими данными, убедительно обосновывает уместность и правомерность гипотезы Н. С. Трубецкого о древнем балтийском происхождении этого гидронима. Фрагмент сложной, требующей изощренного анализа реальности современных балто-славянских языковых связей представила Т. М. Судник («Об одной белорусско-литовской параллели из области синтаксиса»).

Общие и частные лексические явления — следы многовекового взаимодействия и интерференции славянских и иноязыковых диалектов карпатской зоны рассматриваются в статьях Г. П. Клепико-

вой «Южнославянский компонент в „Общекарпатском диалектологическом атласе“», Т. Ф. Семеновой «К вопросу о путях проникновения тюркизмов в некоторые западноукраинские говоры», а также в «Этноботаническом этюде: базилик» В. В. Усачевой.

Последняя работа принадлежит одновременно к группе статей, трактующих популярную ныне тематику простонародной мифологии и сопряженных с ней ритуальных действий. Филологов, естественно, в первую очередь привлекает языковой план народно-мировоззренческой атрибутики. В статье «Южнославянско-восточно-балтийские схождения в области обрядности» Р. Эккерт сообщает и осмысливает данные, представляющие, по аргументированному заключению автора, «большой интерес не только для сравнительного изучения славянской и балтийской обрядности, но и для исторической фразеологии этих языков» (с. 36). В этюде «Соленный болгарин» Н. И. Толстой публикует известия о следах экзотического ритуала с использованием соли (как оберега) в родильной обрядности у южных славян, усматривая в нем «библейскую древность», уходящую корнями на Ближний Восток (с. 45). Т. В. Цивьян предлагает опыт семиологического анализа одного из греческих гадательных обрядов.

Сфере исторической лексикологии болгарского языка принадлежат статьи Г. К. Венедиктова и Э. И. Зелениной. Работой под заглавием «О некоторых „авторских“ новообразованиях в болгарской лексике» Г. К. Венедиктов аргументированно показал, сколь осмотрительно надо оценивать предполагаемый вклад отдельных лиц в пополнение и обогащение лексического фонда и фразеологии литературного языка. Эти наблюдения имеют актуальное предупредительное значение для общего опыта исторической лексикологии. Э. И. Зеленина, сосредоточенно занимавшаяся выявлением диалектной базы болгарской терминологии ткачества, воспроизвела «вновь отредактированный и дополненный вариант статьи» пятнадцатилетней давности (с. 75).

Опубликованные в сборнике лингвистические исследования представляют вклад во все основные разделы исторического славянского языкознания. В трех работах освещаются вопросы исторической акцен-

тологии. В. А. Дыбо рассматривает типологию акцентных систем, методику их экономного описания и факторы, определившие и определяющие их своеобразие («К вопросу о происхождении морфологизованных акцентных систем»). Обработав материал древнесербского памятника XIV в., Р. В. Булатова выявляет акцентные показатели, которые могут служить диалектноразличительными индикаторами, используемыми при определении локальной соотносительности южнославянских рукописей («Акцентная система косовско-метохийского ареала конца XIV в.»). Т. М. Николаева изложила гипотетические соображения о мотивированности и обусловленности генеральной передатки ударения в сербских штокавских говорах («Попытка фонетической интерпретации неоштокавского акцентного сдвига»).

Статья Т. В. Поповой «К вопросу о редукации гласных в современных болгарских диалектах» указывает на необходимость дальнейшего изучения и диахронической интерпретации некоторых современных явлений, отражающих эволюцию диалектных систем вокализма. Судьбу чередований задненебных согласных в притяжательных прилагательных и падежных формах имен существительных проследил А. А. Зализняк в статье «Морфонологические модели Луць — Лучинь и Лукъ — Лукунь в славянских языках», подытожив анализ разновременного материала констатацией: «установление морфонологической закономерности, общей для всего славянского мира, оказывается важным инструментом исследования конкретного славянского языка» (с. 160).

Реконструкция фрагмента морфологической системы имени на заре истории праславянского языка предложена в заметке Вяч. Вс. Иванова «Об одном серболужицком архаизме». Сближение лужицкого зраг 'сон' к хеттской лексической единицы впечатляюще, но, к сожалению, не вполне убедительно. Нужны более весомые доводы в пользу утверждения, что лужицкое слово, квалифицируемое как глубокий архаизм, действительно является таковым. История науки знает предостаточно глубокомысленных построений на песке аксиоматических мнимостей. Но вообще гнездо славянских образований, соотносящихся с парой *сон* — *спать*, заслуживает обстоятельного компаративист-

ского обследования, материал весьма обременен и интригующе разнообразен (ср., например, фигурирующее в словаре В. И. Даля существительное *спень* 'часть сна, от первого засыпа до первого пробуду').

Глагольные формы и их функционирование стали предметом рассмотрения в статьях М. И. Ермаковой «О некоторых способах выражения пассивного значения в серболужицких языках» и И. К. Буниной «Еще раз о категории времени, временах болгарского индикатива и „хронологической теории“». Многоплановая работа И. К. Буниной сочетает изложение эволюции взглядов на своеобразие болгарской видовременной системы и авторское видение механизма использования глагольных временных форм. Очевидно тяготение к выработке универсальных решений, опирающихся на анализ употребления глагольных форм преимущественно в книжной наррации. Болгарский язык квалифицируется при этом почему-то как единственный славянский, сохранивший множество временных форм, хотя таковыми являются и соседние македонский и сербскохорватский (с обширной научной литературой, описывающей функционирование глагольных форм).

К проблематике истории литературных языков обратились Л. Н. Смирнов и Е. В. Чешко. Первый изложил в обстоятельной энциклопедической манере концепцию словацкого литературного языка, выработанную и реализованную на практике Л. Штуром. В статье Е. В. Чешко «Теоретические проблемы исследования болгарского литературного языка периода средневековья» критически оцениваются некоторые концептуальные положения истории болгарского языка как науки и намечаются перспективы научного прогресса в этой области.

Теоретические вопросы разных языковедческих дисциплин обсуждаются в ряде статей. С. М. Толстая отмечает необходимость более глубокой и определенной разработки понятия морфонологической позиции, излагает и обосновывает свое понимание этой важнейшей единицы инструментария грамматических описаний. В статье «Значимость использования сопоставительного метода при изучении проблем словообразования и социолингвистики» Г. П. Нецименко, указав на насущную потребность фундаментального

теоретического обеспечения сопоставительных языковых исследований, определяет важнейшие положения своего кредо и трассирует перспективные направления сопоставительных штудий. Некоторые небесспорные тезисы статьи, в частности, разъединение и конфронтация языка литературного и разговорного, обусловлены, вероятно, преимущественной ориентацией автора на чешскую языковую ситуацию. Л. Э. Калыныч, обобщая материал одного болгарского и восточнославянских говоров, полагает, что явлениям, связанным с мягкостью согласных, «может быть придано значение типологической характеристики при классификации славянских диалектов» (с. 142).

Большинство материалов третьего раздела сборника составляют работы по истории славянских литератур (общим числом десять). Л. Н. Будагова в статье «О пользе традиций, облегчающих прогресс (Роль преемственности в литературном творчестве)» усматривает много сходств в динамике творческой ориентации видных европейских писателей и квалифицирует это как характерное для литературы XX столетия явление. Не вполне вразумительно название статьи, поскольку понятия традиции и прогресса неоднозначны. Обратившись к широкой теме «Славянские литературы в европейском контексте», С. А. Шерлаимова пишет о полинациональных культурно-исторических общностях в разные эпохи европейской истории, о стимулирующей роли межнациональных связей и взаимовлияний в развитии славянских литератур и о необходимости интенсивного сосредоточенного изучения проблемы национальных и интернациональных компонентов в литературах и вообще культуре славянских народов.

Прочие литературоведческие статьи охватывают более узкие и конкретные темы, достаточно определенно обозначенные в названиях отдельных работ: М. И. Лекмцева «К поэтике „Похвального слова Кириллу — Философу“ Климента Охридского»; Л. А. Софронова «Мифопоэтическая структура „Дзядов“ А. Мицкевича»; А. П. Соловьева «Некоторые черты поэтики Яна Неруды»; С. В. Никольский «Я. Гашек в воспоминаниях Я. С. Николаева»; В. И. Злыднев «Два характера — две грани болгарской литературы» (речь

идет о писателях Л. Стоянове и Г. Караславове); Г. Я. Ильина «Как разрушались стереотипы» (имеется в виду разрушение стереотипов художественного мышления в литературной среде Югославии на рубеже 40—50-х годов нашего века); В. А. Хорев «О польской эссеистике 50—60-х годов XX в.»; Ю. В. Богданов «Феномен двоемыслия в современной словацкой литературе (на материале творчества Рудольфа Слободы)».

Вошедшие в сборник работы историков вводят в научный оборот почерпнутые из средневековых источников ценные сведения, обогащающие знания и представления о древнем славянстве и его культуре (Г. Г. Литаврин — «Лиутпранд Кремонский об одном из славянских обычаев»; Б. Н. Флоря — «Рассказы о Кирилле и Мефодии в „Прениях о вере с греками“ Арсения Суханова»; Е. П. Наумов — «Античность в представлениях и сочинениях древнесербских книжников»). Особняком стоит статья В. К. Волкова «Славянские народы и современный мир», являющаяся попыткой осветить и осмыслить некоторые обстоятельства современной исторической действительности и даже заглянуть в будущее. Это интересно; жаль только, что политические прогнозы историков не более надежны, чем предсказания представителей оккультных наук.

В. А. Дьяков публикует информационно-аналитический обзор «Итоги и перспективы работы международной комиссии по истории славистики». Закрывают сборник статьи из истории науки и о русско-славянских связях в XIX в. Очень обстоятельная, можно сказать тщательная работа Е. И. Деминой «Из истории отечественного славяноведения XIX в.» воспринималась бы еще лучше, если бы вместо нынешнего «малоинформативного» названия имела более конкретное (например: «Житие Петки Тырновской как объект филологических штудий русских славистов XIX в.»). М. В. Никулина обобщает архив П. И. Кепшена (в статье с соответствующим тем названием), много внимания уделив путешествиям и личным связям пионера российской славистики. Огорчает, что при этом не упомянуты публикации С. Г. Потепалова, основанные на сведениях из архива Кепшена. И. С. Достали перепечатывает изданную ранее в Югославии статью о связях А. С. Грибое-

дова с далматинцем по происхождению Мазаровичем.

В целом, как это, надеюсь, очевидно из предложенного обзора, сборник работ филологов и историков Института славяноведения и балканистики АН СССР является репрезентативным, насыщенным значительными и ценными публикациями изданием, достойно ознаменовавшим юбилей С. Б. Бернштейна. Жаль, что техническое исполнение книги не адекватно качеству содержания и назначению сборника. Отсутствие твердого переплета — очевидный, но не единственный изъян. К со-

жалению, не все материалы сборника подготовлены одинаково аккуратно. Огрехи есть и в библиографии юбиляра и даже во вводной статье. Читателя не может не корчить искажение имен исторических деятелей на с. 341, 359. Обнаруживаются довольно многочисленные пунктуационные погрешности, даже орфографические ошибки (см., например, с. 179, где в третьей фразе срединного абзаца налицо целый букет опечаток). Надо, судя по всему, совершенствовать технологию внутринститутского книгоиздания.

Гудков В. П.

Принимая справедливость упрека рецензента, касающегося ошибок и опечаток, допущенных в статьях И. Е. Можяевой, И. К. Буниной, И. С. Достян, Е. И. Деминой, хочется заметить, что за эти огрехи прежде всего несут ответственность авторы статей, которые имели возможность и время для прочтения набора. В штате Института нет и не предусмотрена корректорская должность. Поэтому и впредь качество подготовки текстов при внутринститутском книгопечатании будет зависеть от добросовестности и внимательности авторов.

Р. Булатова, член редколлегии сборника



ИЛЛЮМИНИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ ГУСИТСКОГО ПЕРИОДА (Международный коллоквиум по кодикологическим проблемам в Праге)

Институт истории искусств Чехословацкой Академии наук и кафедра истории искусства филологического факультета Карлова университета организовали 30 I — 1 II 1991 г. широкое обсуждение проблем изучения рукописей, возникших в самый яркий и драматический период средневековой чешской истории — в эпоху гуситского движения XV в. Это было время своеобразного развития чешской литературы; она стала выражать чаяния сторонников революции, породила новые жанры, а по сравнению с предшествующим периодом изменилась ее общественная функция. В гуситский период в Чехии написано большое число книг разных направлений, часть их и в настоящее время находится в хранилищах ЧСФР, многие рассеялись по другим странам. Их ценность не только в содержании, но и в художественном оформлении: среди миниатюр рукописных кодексов есть шедевры средневекового изобразительного искусства, уникального не только ввиду единственности каждого изображения, но и потому, что в Чехии иконоборческая теория и практика гуситов отодвинула изобразительное искусство всех прочих видов на задний план. Эти и другие вопросы обсуждались на коллоквиуме, собравшем около 80 специалистов из ЧСФР, ФРГ, Швейцарии, Шотландии, Польши, СССР и других стран.

Целая группа докладов была посвящена анализу содержания иллюминаций, технике их исполнения, стилистике как отдельных миниатюр, так и украшения книг в целом. Э. Снежиньска-Столот (ПР) рассмотрела становление воображения средневекового художника на материале так

называемых «дролеров» (фривольных рисунков), Я. Белоглавкова (ЧСФР) — иллюстрации в произведениях чешских реформационных проповедников, О. Пуйманова (ЧСФР) — изображение Мадонны Арачели, выполненное в Праге. Эти и другие, касающиеся книжного искусства, доклады сопровождались демонстрацией слайдов.

Часть докладов касалась влияния гусизма на отдельные области искусства и культуры, например, на архитектуру (И. Горжейши, ЧСФР), на силезскую живопись (Я. Костовски, ПР) и замковую архитектуру (Г. Дурдик, ЧСФР) и т. п.

В другой группе докладов анализировались содержание отдельных рукописей, ряд общих вопросов изучения средневековых манускриптов. З. Кремер (ФРГ) высказалась о путях исследования источников происхождения средневековых рукописей, И. Главачек (ЧСФР) — о средневековых библиотеках; Франц и Маргарита Махилек (ФРГ) анализировали одну рукопись чешского происхождения, хранящуюся в библиотеке Вюрцбурга, А. Граф (ФРГ) — рукопись «Адамас», созданную Вьянандом фон Штеегом и представляющую собой иллюстрированный призыв к крестовому походу против гуситов. Ряд докладов был посвящен рукописям, важным для истории гуситского движения.

Составной частью коллоквиума являлась выставка 66 иллюминированных рукописей, созданных в Чехии и Моравии в период подготовки и хода гуситской революции, экспонировавшаяся в Зеркальной часовне Клементинума. В ее устройстве участвовала — кроме упомянутых

организаторов коллоквиума — и Национальная библиотека Чешской Республики. Выставка, имевшая самостоятельное культурное значение, была открыта 12 XII 1990 г., коллоквиум же проходил на завершающей стадии ее работы. С выставленными рукописями ознакомилась широкая общественность, проявившая к ним незаурядный интерес. Старейшей из экспонированных рукописей является Велеславова Библия (середина XIV в.), одна из самых объемных книг средневековья, содержащая, несмотря на утрату нескольких листов, 747 иллюстраций. За большинством из них признается высокая художественная ценность. Будучи идеологической опорой гуситского движения, Библия не раз переводилась на чешский язык, что предопределило и ее распространенность среди народных масс. Экспонировалось несколько экземпляров Библии на латинском и чешском языках периода XIV—XV вв. С 1420 г. в иллюминации чешских Библий отражаются реформационные идеи. Вторая группа рукописей — градуалы, т. е. сборники духовных, военных, сатирических и других песен, сложенных гуситами в ходе движения. Так, Малостранский градуал 1569—1572 гг. содержит чешские утраквистские песнопения, исполнявшиеся во время мессы. Его богатое художественное оформление отражает гуситские сюжеты. Одним из ценнейших кодексов чешского происхождения является показанный на выставке Литомержицкий градуал, возникший ранее 1517 г. на латинском языке. Именно в нем содержатся хорошо извест-

ные по репродукциям изображения — «Диспут Гуса в Констанцском храме», «Сожжение Яна Гуса на костре» и другие, выполненные на очень высоком художественном уровне. Был представлен и Йенский кодекс (ок. 1500 г.), хранившийся в Йене, но в 1951 г. подаренный правительством ГДР Чехословакии. В нем помещены написанные в реформационном духе трактаты, направленные против католической церкви (в основном на чешском языке), и знаменитые иллюстрации, в том числе 111 страниц миниатюр, среди которых часто воспроизводимая — «Жизка во главе войска».

Наряду с этим на выставке были также представлены рукописи чешских хроник, сочинения чешских сторонников реформации, правоучительные сборники и т. д. В целом выставка показала богатую духовную и художественную культуру Чехии гуситского периода. Особого упоминания заслуживает каталог выставки, составленный крупнейшим знатоком средневекового искусства книги, заведующим кафедрой истории искусства Карлова университета К. Стейскалом и П. Войтом, специалистом по чешской средневековой литературе. Снабженный обстоятельными статьями о рукописях, об их иллюминации и большим числом цветных и черно-белых репродукций миниатюр и других видов украшений кодексов, каталог имеет самостоятельное значение как пособие прежде всего для тех, кому не довелось ознакомиться с выставкой лично.

Лантвева Л. П.

СЛАВИСТИКА. ИНДОЕВРОПЕИСТИКА. НОСТРАТИКА. КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. А. ДЫБО

Эта конференция, посвященная главе Московских компаративистической и акцентологической школ, состоялась в Институте славяноведения и балканистики АН СССР 4—6 июня 1991 г. Выпущен сборник тезисов [1]; с речами о славном пути юбиляра и его достижениях выступили В. Н. Топоров, А. А. Зализняк и С. Б. Бернштейн.

В ходе конференции сперва были заслушаны доклады по ностратике — т. е. конференция началась *ad ovo*. Затем — по индоевропеистике и славистике (среди последних много докладов по акцентологии). Были представлены и доклады по акцентологии неславянских языков. Первым должен был состояться доклад С. Е. Яхонтова «Прародина ностратик-

ческих языков» (с локализацией недалеко от прауральской и прафинно-угорской прародины). К сожалению, докладчик не прибыл на конференцию. Первым реальным было выступление В. А. Терентьева о новых ностратических этимологиях. В докладе Е. А. Хелимского «К топонимологии уральско-алтайских этноязыковых связей» было показано, в частности, наличие в западных финно-угорских и сибирских языках общих слов, таких как фин. *агра* 'орудие колдовства': тюрк. *агра* 'колдовать', приб.-фин. **käkträ* 'косой': тюрк. **käktrü* 'то же', венг. *kanál* 'ложка': тунг. *kalan* 'черпак', венг. *oldal* 'сторона': тунг. (x)ol-don 'то же' и др.

Реконструкции восточнокавказской морфологии были посвящены доклады М. Е. Алексеева (система числа) и С. А. Старостина (система падежей). О. А. Мудрак рассказал о своей реконструкции прачукото-камчатской фонетики, а А. В. Дыбо — о реконструкции начальных *t*- и *d*- в тюркских языках. Последняя система оказалась очень громоздкой, и вряд ли вообще отражение фонем в языках-потомках может быть таким изощренным, тем более что в этой реконструкции, скрупулезно учитывающей все последующие гласные и согласные, все равно оказались исключения. Я. Г. Тестельцу в его реконструкции пракартвельского несонантического вокализма удалось свести до минимума пракартвельский аблаут. М. М. Сахокия рассмотрела общность в выражении понятий 'быть' и 'иметь' в картвельских и индоевропейских языках, которая уходит своими корнями очевидно, в ностратическую. А. Е. Аникин остановился на обозначениях Большой Медведицы в языках Сибири, где она называется чаще всего 'лабазом на столбах' или 'животным, за которым гонится небесный охотник'. Животное это чаще всего бывает лосем или медведем. О. В. Столбова проанализировала генезис эмфатического *r* в чадских языках, который, как оказалось, восходит к *r* чистому в корнях, содержащих ларингал. Нельзя не отметить доклад Г. К. Вернера, который, хотя и не был прочитан, живо обсуждался в кулуарах. Согласно концепции этого автора, в германских языках есть енисейские заимствования, занесенные в Европу гуннами, которые

были енисейцами. Это своеобразно дополняет статью В. А. Терентьева [2], который находит в языках Европы, в том числе и в германских, тюркские слова, также занесенные гуннами. Скорее всего гунны были конгломератом тюркских и енисейских племен, к которому могли примкнуть и другие народы. Эта проблема ждет своих исследователей.

Заседания, посвященные индоевропеистике, открылись докладом Л. И. Куликова «Древнеиндийские глагольные корни на *ā*», где были рассмотрены определители корня и *Schwebeablaut* в ведических текстах. Своеобразная концепция о реконструкции и.-е. *x* высказана в тезисах В. В. Мартынова (доклад, к сожалению, не состоялся). В. В. Мартынов пишет о соответствиях лат. *f* ~ слав. *x* и слав. рефлексах и.-е. **k̂*, которое он трактует как **x̂*. Только остается неясным, что делать с тем ларингалом, который реконструируется как *x* на базе хеттского *ḫ*. Среди прочих докладов по индоевропеистике следует упомянуть выступление С. Г. Болотова (не попавшее в печатные тезисы) о слав. отражении и.-е. **du* как *v*, в отличие от **du̯*, которое дает **d̂v*. С подкупающей простотой это правило объясняет происхождение слав. **ъторъ* из **duitoros* и **огръпъ* из **ordhuos*, ср. греч. *ἔρδος*. Не состоялось выступление А. А. Королёва о толковании ряда мест из хеттских клинописных табличек. В докладе Т. А. Михайловой «К вопросу о судьбе и.-е. **deks*» рассмотрено постоянное смещение в языках мира понятий 'правый' и 'лучший, правильный'. В. Д. Фатнева в докладе о собирательном 'оба' в индоевропейских языках усматривает в этом корне (греч. *ἄμφω*, лат. *ambo* др.-инд. *ubhau* и т. д.) тот же корень, что в рус. *бояться*, и сравнивает его с аффиксальными показателями и.-е. инстр. лат. *bus*, др.-инд. *bhis* и дат. лат. *bus*, др.-инд. *bhuas*. Далее она возводит это слово к и.-е. **bheu-* / **bhou-* / **bhu-* 'быть'. А. Б. Копелиович высказал мнение о происхождении и.-е. рода как отражения противопоставления основ на *ā* и *ō*, откуда вытекает, что в литовском, где *ā* и *ō* совпали, совпали и м. и ср. роды. Так получается у автора этого доклада.

Несколько обособленным вышел доклад С. А. Крылова, в котором были

разобраны основные различия между положениями отечественных фонологических школ: ленинградской, старомосковской (Аванесов, Сидоров и др.), новомосковской (Паюв) и мытищинской (Чурганова). Не были прочитаны доклад С. В. Кодзасова, который отчасти касается русской просодики, так как автор находит в русском языке богатые и развитые тоны, фонации и пр., М. В. Софронова о китайских тонах. В. Ф. Выдрин представил работу на грани акцентологии и сравнительной морфологии по реконструктивным показателям именных классов в пра-манде. Компактная работа «К истории глагольного ударения в мунджанском и памирских языках» была представлена Д. И. Эдельман.

В. Н. Топоров в тезисах «О кривичском элементе и кривичской ретроспективе» показал тесную связь славянских кривичей с балтами, в которых и в языке, и в мифологии, и в топонимике широко распространён элемент *křiv-*. Автор считает, что и отсутствие многих общеславянских явлений в кривичском диалекте, и некоторые его инновации близки балтийским языкам. Ж. Ж. Варбот в своём докладе рассмотрела трудные случаи славянской этимологии. Например, рус. *звезда-нуть* 'ударить' скорее связано с др.-рус. *звиздати* 'свистеть', а не с *звезда*, рус. слово связано со слав. **prętiati* 'разрабатывать новую пашню' (= очищать от леса), т. е. прут — это очищенная, обрубленная, голая ветка. Отмечены и параллелизмы в выражении одной и той же семантики в слав. языках: рус. *падеж* скота и *валёж*; рус. *крапива*, польск. *żegawka*, кашуб. *rażawa* с глубинным значением 'то, что обжигает'. Особностям языков карпатского ареала посвящены сообщения Е. Н. Овчинниковой, совместный доклад Л. А. Гиндина и И. А. Калужской и М. А. Осиповой. В последнем докладе отмечены сходства в семантике между карпатскими славянскими и германскими словами; особое внимание уделено параллелям карп. слав. **klebeta* 'клевета', **klebetati* 'шатать, гнуть' в балтийском. Интересно отметить доклад Г. П. Клепиковой «Наблюдения над лексикой новоболгарских дамаскинов», где прослежено становление новоболгарского литературного языка.

Последнее заседание было целиком по-

священо славянской акцентологии. Оно должно было начаться докладом Р. В. Булатовой (к сожалению, не состоявшимся). В ее тезисах охарактеризовано ударение существительных мужского рода ж глаголов в косовско-метохийском диалекте сербохорватского языка (по описанию Г. Елезовича), представляющее сравнительно-исторический и типологический интерес (сохранение особых рефлексов а.п. *a*, *b*, *c* и частично *d* у существительных, полуотметность в презенсе у значительного числа глаголов а.п. *c* и краткосложных глаголов а.п. *b₂* при колонной баритонезе в презенсе прочих *i*-глаголов).

Один из докладов С. Л. Николаева и доклад Е. Э. Будовской посвящены современным славянским диалектам, в которых имеется оттяжка ударения с праславянского долгого гласного на предшествующий слог, зависящая от исконной долготы-краткости последнего (оба доклада построены на материале, собранном авторами в экспедициях). С. Л. Николаев приводит данные западнобойковского говора с. Битля Львовской области, в котором в им.-вин. п. мн. ч. существительных муж. рода с окситонезой в ед. ч. конечное ударение фиксируется в праславянских долгосложных основах, тогда как в краткосложных ударение накоренное. Е. Э. Будовская рассматривает ударение род., твор. мест. п. мн. ч. существительных м.р. в чакавских говорах. Распределение ударения, аналогичное западнобойковскому, описанному С. Л. Николаевым, и шире — галицкому (на эту параллель указывает сам автор), наблюдается в говоре о. Сусак (Югославия). Противоположная система (оттяжка ударения с долготного окончания на предшествующий исконно долгий слог корня при отсутствии оттяжки на исконно краткий), совпадающая с системой диалекта Ю. Крижанича, обнаружена Е. Э. Будовской в говоре с. Сали (р-н Задара, Югославия). В докладе Е. Э. Будовской охарактеризовано также инновационное ударение среднедалматинских говоров окрестностей Задара.

Г. И. Замятина в своём докладе проанализировала ударение *i*-глаголов в словенском литературном языке, отраженное у М. Плетершника и современном Словаре словенского литературного языка в пришла к выводу, что два основных ис-

точника сведений о нормативном словесном ударении отражают различные этапы развития одной или близких друг другу систем (это касается именно подсистемы *i*-глаголов; иную картину дает, например, сопоставление существительных на *ostь*, *-ota* по указанным источникам).

А. В. Тер-Аванесова показала связь расстановки знаков древнерусской знаменной нотации и словесного ударения (на материале Новгородского Стихира-ря XII в.).

И. А. Букринская на основании данных Диалектологического атласа русского языка и диалектологических экспедиций последних лет сделала попытку опровергнуть укоренившееся мнение о первоначальном возникновении в русском языке окончания им. п. мн. ч. *-a* у существительных (не среднего рода) подвижной акцентной парадигмы. Она показала, что в современных русских говорах выделяется область, в которой формы им. п. мн. ч. на *-a* образуются от любых слов м. р. (говоры «кривичского» и «вятичского» типа).

В. Г. Скляренко в своем докладе рассматривает позиции сокращения и сохранения долготы гласных в праславянском и предлагает фонетическую интерпретацию сокращения ударной долготы (с некоторыми моментами которой трудно согласиться). Б. С. Кудрявцев предложил две альтернативные акцентологические реконструкции, базирующиеся на известном балто-славянском материале. Первая представляет собой переосмысление закона Ф. де Соссюра о переносе ударения в балтийском: предлагается считать, что в балтийском ударение перетягивалось с исконно краткого слога на исконно долгий, а интонация являлась результатом перефонологизации количественных отношений, развиваясь лишь в ударных слогах) чему, кажется, противоречит факт сохранения интонации безударных слогов в жемайтских говорах). Во второй части доклада было предложено считать противопоставление слав. *bólto* : *zólto* отражением не балто-сла-

вянской или индоевропейской интонаций, а отношений долготы / краткости в индоевропейском.

Далее мы упомянем доклады, вошедшие в сборник, но не прочитанные на заседаниях.

М. Н. Толстая рассмотрела порядок расположения энклитик в сербских грамматах XIV — начала XV в. В докладе Н. А. Кожевниковой «Об устойчивых звуковых повторах» разобрано средство русского стиха XVIII—XX вв., заключающееся в повторении созвучных слов по соседству друг с другом, таких как *плач — печаль, темный — туман — мутный, роза — заря, роза — риза*. Приведено очень большое количество повторов из стихов классиков русской литературы. Т. М. Николаева обратилась к интерференции в речи русских эмигрантов первого поколения в Югославии. Здесь рассмотрено употребление сербохорватских слов в русской речи, неправильное употребление общеславянских и интернациональных слов. А. Б. Пеньковский попытался показать, что в русском языке, так же как, скажем, во французском, значение наречий меняется в зависимости от их места в предложении. Например: *К этому времени он был уже одет обычно* и *К этому времени он был уже обычно одет*, или *Он уже не молод, но работает по-прежнему* и *Он уже не молод, но по-прежнему работает*. Заключает сборник веселая мистификация А. Ф. Боруна об очередной попытке прочтения «Фестских дискет», в которой говорится о попытке прочтения фестского диска исходя из русского языка.

Тер-Аванесова А. В., Терентьев В. А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. К 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо. Конференция. Тезисы докладов. М., 1991.
2. Терентьев В. А. Древнейшие тюркские заимствования в языках Европы. — Советская тюркология, 1990, № 4.

НОВЫЕ КНИГИ

Только в Институте славяноведения и балканистики АН СССР можно купить, оплатив доставку по почте малозначительным платежом, книги, опубликованные офсетным способом:

1) Косик В. И. — Русская политика в Болгарии. 1879—1886. М., 1990 (179 с. Тираж — 300 экз. Цена — 1 р. 93 к.)

2) Виземская Е. К., Данченко С. И. Россия и Балканы. Конец XVIII в. — 1918. Советская послевоенная историография. М., 1990 (249 с. Тираж — 300 экз. Цена — 3 р.)

3) Титова Л. Н. Чешская культура первой половины XIX в. М., 1991 (232 с. Тираж — 400 экз. Цена — 2 р. 80 к.)

4) Стыкалин А. С. Венгерская культура в середине XX века (от Хорти до Кадара). М., 1991 (214 с. Тираж — 300 экз. Цена — 1 р. 70 к.)

Заявки направлять по адресу: 117334 Москва, Ленинский пр-т, 32 А, корп. В. ИСБ АН СССР. Ученому секретарю.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Poland, Hungary, Czechoslovakia, and the Former German Democratic Rep., Aug. 1—12, 1990 to the Comm. on foreign affairs, U. S. House of representatives. Washington, 1990.

Ekspansja niemieckich zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku: Materiały z konf. historyków radz. i pol. w Toruniu z. r. 1988. Toruń, 1990, 202 s.

Gajda S. Współczesna polszczyzna naukowa: Język czy żargon? Opole, 1990, 138 s.

Gyllin R. The genesis of the modern Bulgarian literary language Uppsala, 1991, 122 p.

Junas J. Lekári a spoločnosť v. 19. storočí na Slovensku. Martin, 1990, 277 s., 18 l. il.

Kazimierz Tymieniecki (1887—1968): Dorobek i miejsce w mediewistyce pol. Poznań, 1990, 209 s., il., 1 ark, portr.

Klebelsberg K. Tudomány, kultúra, politika: Gróf Klebelsberg Kunóvalogatott beszédet és írásai (1917—1932) Budapest, 1990, 586 old.

Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego (do roku 1878). Wrocław etc., 1990, 227 s.

Kultura i wartości: Materiały z konf. nauk. Wrocław, 1991, 137 s.

Moszyński L. Cerkiewnosławiańskie tytuły ewangelijen. Warszawa, 1990, 145 s.

Moszyński L. Język Kodeksu Zografskiego. Cz. 2. Imię okręslające i zaćpetcze (przymotnik, liczebnik, zaimek). Wrocław etc., 1990, 280 s.

Nasza przeszłość: Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. Kraków, 1990, 318 s., 6 ark il.

Osobitné medziliterárne spoločenstvá. Bratislava, 1991.

Pavol Horov ponorný básnik: Život a dielo v dokumentoch. Martin, 319 s.

Pelikán J. Purkyňova spolupráce s poláky. Brno, 1990. 146 s.

Problemy teortyčno-metodologiszze badań konfrontatywnych języków słowiańskich. Warszawa, 1991, 116 s.

Radovanović M. Spisi iz sintakse i semantike. Novi Sad, 1990, 221 s.

Sipos P. Die Sozialdemokratische Partei Ungarns und die Geweckschaften, 1890—1944. Budapest, 1991, 150S.

Stępień H. Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828—1855. Wrocław etc. 1990. 172 s.

Tessner M. Der Außenhandel Österreich-Ungarns von 1867 bis 1913 — Köln, 1989, 130 S.

Vučković R. Moderna srpska proza: kraj XIX i početak XX veka. Beograd, 1990, 477 s.

Woźniczka-Paruzel B. Dzieje ojczyzny dla ludu: doby romantyzmu. Wrocław, 1990, 211 s., il.

Wysocka B. Kultura literacka Wielkopolski w latach 1919—1939. Poznań, 1990, 266 s., 10 ark il.

CONTENTS

DISCUSSIONS

- The National factor in the international relations in the Central and South Eastern Europe. *Sluč Z. S.* The case of Tuchačevskij: are the services of 50 great? (on the new book of a German, historian) 3

ARTICLES

- Seremet V. I.* An attempt of analysis of the crisis of the feudal-imperialist system (economics and policy in the epoch of the Eastern crisis of 1870-s. *Gibian-skij L. J.* Toward the history of Soviet Yugoslavian conflict of 1948—1953. The secret Soviet-Yugoslavo-Bulgarian meeting in Moscow, the 10th of February, 1948. *Nikol'skij S. V.* Science fiction and the art of allegory. *Maroevič P.* (Yugoslavia). Contrastive linguistics and the theory of translation as scientific disciplines. *Kalnyn' L. E.* Phonemic word as a field of phonetic changes in Slavic dialects . . . 30

COMMUNICATIONS

- Pimenova I. V.* Brain-workers — do they really form intelligentsia? (going back to the already published). *Firsov E. F.* National and human in the works of J. A. Komenskij in the interpretation of J. Popelova (toward the anniversary of Komenskij) 89

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

- Makovečkaja T. B.* И. Косик. Русская политика в Болгарии 1879—1886. *Freidenberg M.* Krivošič S. Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti. *Lebedeva O.* Georg J. Morava. Franz Palacký. Eine frühe Vision von Mitteleuropa. *Vasilenko V. N.* 101
 Д. С. Прокофьева. «Струн вещей пламенные звуки...». *Anikin A. E.* Szermerényi O. An den Quellen des lateinischen Wortschatzes. *Gudkov V. P.* The works published on the occasion of S. B. Bernštejn's anniversary.

SCIENTIFIC LIFE

- Lapteva L. P.* Illuminated manuscripts of Gus's period (International tutorial on the problems of codicology in Prague). *Ter-Avanesova A. V., Terent'ev V. A.* Slavonic, Indo-European and Nostratic studies. Conference, dedicated to the 60th anniversary of V. A. Dybo. The new books 122

Технический редактор *А. В. Рудницкая*

Сдано в набор 11.10.91	Подписано к печати 13.12.91	Формат бумаги 70×100 ^{1/16}
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10,4	Усл. кр.-отг. 10,9 тыс.
Тираж 1022 экз.	Зак. 2038	Уч.-изд. л. 12,4
		Бум. л. 4,0
		Цена в р. 50 к.

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а

Телефоны 938-01-20, 938-08-09

2-я типография издательства «Наука», Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 50 к.

Индекс 70891